

13
157
НА ПАРИЖЪ!

В. П. & ВЕН & РИУСЪ



Василий Петрович Авенариус

На Париж

Авенариус, Василий Петрович, беллетрист и детский писатель. Родился в 1839 году. Окончил курс в Петербургском университете. Был старшим чиновником по учреждениям императрицы Марии.

Содержание

| | |
|-----------------------------|------|
| #1 | 0006 |
| Предисловие | 0008 |
| ПЕРВАЯ ТЕТРАДЬ 1813 г. | 0010 |
| ГЛАВА ПЕРВАЯ | 0010 |
| ГЛАВА ВТОРАЯ | 0025 |
| ГЛАВА ТРЕТЬЯ | 0047 |
| ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ | 0059 |
| ГЛАВА ПЯТАЯ | 0077 |
| ГЛАВА ШЕСТАЯ | 0100 |
| ГЛАВА СЕДЬМАЯ | 0121 |
| ГЛАВА ВОСЬМАЯ | 0137 |
| ГЛАВА ДЕВЯТАЯ | 0153 |
| ГЛАВА ДЕСЯТАЯ | 0166 |
| ВТОРАЯ ТЕТРАДЬ | 0186 |
| ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ | 0186 |
| ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ | 0202 |
| ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ | 0222 |
| ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ | 0236 |
| ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ | 0246 |
| ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ | 0267 |
| 1814 г. | 0271 |
| ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ | 0287 |
| ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ | 0302 |
| ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ | 0320 |
| ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ | 0334 |

| | |
|----------------------------|------|
| ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ..... | 0347 |
| ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ..... | 0359 |
| ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ..... | 0370 |

В. П. Авенариус На Париж

157

В. П. Авенаріуєъ.

НА ПАРИЖЪ!

ДНЕВНИКЪ ЮНОШИ, УЧАСТНИКА БАНКАНИ

1813—1814 г.г.

Съ 12 картинама художника Н. Н. Родарева.

МОСКОВСКИЙ ПУБЛИЧНЫЙ
XIII-41113
ИРМЕНСКИЙ МУЗ

Цѣна 1 р. 50 к., въ папкѣ 1 р. 75 к., въ переплетѣ 2 р.

Изданіе книжнаго магазина П. В. Луковникова.

С.-Петербургъ. Лештуковъ пер., 2.

1914.

Дневник юноши, участника кампании 1813–1814 гг.

Предисловие

В прошлом году мне посчастливилось найти у букиниста рукопись очевидца Отечественной войны 1812 г., которая затем и была выпущена в свет под заглавием: «Среди врагов». На ловца и зверь бежит. Вскоре мне были присланы из провинции еще две рукописные тетради при следующем письме:

«Милостивый Государь. Имени и отчества, простите, не знаю. А пишу я к вам во исполнение последней воли благодетельницы моей, Серафимы Матвеевны Пруденской. А препоручила она мне на смертном одре своем переслать вам, Милостивый Государь, дневник ее покойного деда, отставного полковника, Андрея Серапионовича Пруденского, о коем одна книжка вами уже напечатана. А напечатали бы вы тоже и сей дневник, буде можно, ради памяти незабвенного ее деда. А за сим прощения прошу за беспокойство. Неизвестная вам Таисия Жукова.»

Обе присланные тетради оказались писанными тою же рукою, что и рукопись 1812 года. По содержанию своему они представляют

прямое ее продолжение, передавая последовательно главнейшие события кампании 1813 — 14 гг. и личные переживания самого писавшего. Со своей стороны я позволил себе сделать с этим дневником только то, что и с первым: несущественное сократил, орфографию исправил и, разделив дневник на главы, в заголовке каждой главы указал ее содержание.

Октябрь 1912 г.

В.А.

ПЕРВАЯ ТЕТРАДЬ

1813 г.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Святочные гадания. — Суженый-ряженый и всякие ряженые

* * *

Толбуховка, января 6. Сегодня, ко дню своего Ангела, новую тетрадь для дневника получил и сегодня же ее обновляю; а почему — о том сказ впереди.

Под Новый год Толбухины ожидали из Петербурга Дмитрия Кирилловича Шмелева при обратном проезде его в действующую армию; свадьба его с Варварой Аристарховной должна была ведь совершиться сейчас, после Крещения. Ан, заместо него — письмо: задержали-де в Петербурге, и свадьбу придется до времени отложить.

Невеста, понятно, носик повесила. Родители, чтобы немножко ее рассеять, за Иришей Елеонской послали. Толбухины хоть и старо-

го дворянского рода, но, надо честь отдать, и разночинцев не чуждаются. Матушку мою, вдову безвестного диакона, после пожара у себя призрели, во флигеле даровую ей квартирку отвели, провизией снабжают, а мне, сынку ее непутевому, бурсаку отпетому, место конторщика у себя предоставили. Приду с отчетом — Аристарх Петрович руку мне подает. Ну, а с дочкой о. Матвея, Иришей, Варвара Аристарховна совсем, можно сказать, подружилась, хотя та еще в коротком платьице ходит, да две косы аршинные на спине болтаются. Отроковица не по возрасту умненькая, да и превострая; пальца в рот не клади. И на сей раз недаром ее позвали: святочные гаданья затеяла.

Мне бы и невдомек: за конторскими счетами до полночи засиделся, к Новому году последние счета сводил. Вдруг за окошком молодые голоса женские. И пришла мне тут на память Жуковского «Светлана»:

*Раз в Крещенский вечерок
Девушки гадали:
За ворота башмачок,
Сняв с ноги, бросали...*

А что, право, не пойти ли, подсмотреть?

Схватил с гвоздя шапку и — на двор. Но опоздал: со смехом всей гурьбой они на крыльцо уже взбежали и дверь захлопнули.

Однако ж в гостиной свет. Не станут ли еще как-нибудь гадать?

Подошел к окошку. Стекла хоть и обледенели, но меж ледяных узоров все же видно. Так ведь и есть: все в кружок стали; горничная Луша перед каждой на пол что-то горстью сыплет: потом приносит петуха, на пол спускает и сама тоже в кружок становится. Ну, известное дело: у которой он раньше клевать станет, той раньше и под венец идти. Спинами только петуха от меня заслонили, не видать хорошенько. Но все разом как расхохочутся, а Ириша громче всех и от радости прыгает, в ладошки бьет: ей, стало, замуж выходить! Ну скажите, пожалуйста, где тот добрый молодец, что на такую невесту-пиголицу позарится?

А вот еще за новое принимают: два зеркала, побольше и поменьше — одно против другого на стол ставят, по бокам две свечи зажигают. Варваре Аристарховне заглянуть в

зеркало предлагают; но она отказывается. И то ведь, для чего ей, когда и так свадьба на днях? Тогда Ириша перед зеркалами садится и всех вон высылает.

Вышли, дверь за собой притворили, и остается она одна-одинешенька перед зеркалами меж двух горящих свечей. То-то, чай, сердечко тук-тук-тук!

В это время кто-то на крыльцо выходит. Отскочил я от окошка — и к себе во флигель. А с крыльца за мной вдогонку Луша:

— Это вы, Андрей Серапионыч?

— Я. А что?

— Барышня зовет вас.

— Да что ей от меня?

— Почему я знаю. Идите же поскорей! Варвара Аристарховна уже в прихожей.

— Здравствуй, — говорит, — Андрюша. Вот примерь-ка.

И подает мне военный кивер.

— Да для чего? — говорю.

— Ч-ш-ш! Не кричи. Это старый кивер Дмитрия Кириллыча. Ну что, в пору?

— В пору.

— Я пропущу тебя в гостиную. Там сидит

Ириша Елеонская и глядит в зеркало. Ты войди на цыпочках, ей через плечо загляни туда же и сейчас назад. Понял?

— Понял, Варвара Аристарховна. Но Ирина Матвеевна испугается...

— Не твое дело.

Отворила дверь тихонечко, в гостиную меня толкнула. А Ириша, ничего не чая, сидит себе меж двух свечей, глядит в зеркало неотступно, не шелохнется. Подкрался я к ней, как тать в нощи; слышу, как вполголоса шепчет:

— Суженый-ряженный! Явись, покажись... Наклонился я тут ей через плечо, и узрела она меня в зеркале. Как взвизгнет благим матом:

— Чур меня!

Обеими ручками личико закрыла. Я же на цыпочках опять в прихожую, снял кивер и домой без оглядки.

Долго не мог в ту ночь заснуть. Шутка шуткой, но всему есть мера. Ведь ее наверно потом на смех еще подняли, а больше всех в том все же я виноват.

В Новый год видел ее у обедни, но только издали. Молилась она истово и ни разу кру-

гом не оглянулась.

2-го числа иду к Аристарху Петровичу со своими счетами. Просмотрел он их, потом и говорит:

— Да, вот что еще: послезавтра ввечеру ряженые у нас будут.

— Дворовые? — спрашиваю.

— Дворовые своим чередом; но будут и приезжие. Для Варюши нашей сюрприз.

— Уж не Дмитрий ли Кириллыч пожалует?

— Угадал, брат. Только чур, никому пока об этом ни слова. Приедет он с одним приятелем. А чтобы их не так легко распознали, ты тоже перерядись и войди вместе с ними. Как тебе нарядиться — потолкуй уж с Мушероном: ему, как французу, и книги в руки.

Пошел я к Мушерону. Бравый сержант мой с самой Березины как обмененный. От Наполеона своего хоть и отрекся, а все по нем втайне тоскует. Обязанности дядьки у Пети Толбухина исполняет по совести; по-французски говорить с собою заставляет; а того охотней еще со мной беседует, да все про гибель родной своей «великой армии».

Как узнал, что мне требуется, — ни мину-



— Суженый-ряженный! Явись, покажись...

ты не задумался.

— Полишинелем, — говорит, — тебя обрядим; и просто, и потешно.

— А по-нашему, — говорю, — и дешево, и сердито. На том и порешили. Мушерон в молодые годы у портного в подмастерьях служил; не токмо иглой владеет, а и кроить мастер. В два дня из меня такое чучело соорудил, что хоть в балаган: сзади горб, спереди горб, на макушке — белый колпак с красной кисточкой; из черной тафты полумаска, а из папки носище крючком наподобие птичьего клюва. Сам сержант мой, любуясь на дело рук своих, ухмыльнулся, а матушка, как увидела меня, так только отплюнулась и перекрестилась. Зато хохотунье Ирише, чай, немалое веселие доставлю.

— А что, мосье Мушерон, — говорю, — мадемуазель Ирэн тоже к маскараду готовится?

— Не до маскарада ей! — говорит.

— Что так?

— Да еще давеча мадемуазель Барб за ней посылала, а от нее ответ: простудилась, лежит, головы с подушки поднять не может.

Жалко бедняжку! И без нее все как будто

не то...

Вот и вечер; стемнело. Обрядился я полишинелем. Тут бубенцы за воротами. Выбегаю на двор. В калитку уже входят приезжие — не двое, а трое, идут к заднему крыльцу. Я — за ними. В прихожей встречает Луша.

— Сюда, господа, сюда!

И провела нас в девичью. Там вся святочная компания дворовых уже в сборе: и поводырь с медведем, и журавль, и петух индейский, и баба-яга с помелом, и старик с пеньковой бородой в пеньковом парике, мукой посыпанном.

Луша из девичьей их выпроваживает:

— Идите же в гостиную, потешайте господ.

Я остался с приезжими. Те снимают верхнее платье. Разодеты на загляденье: один боярином, другой опричником, а третья особа — женского пола — боярышней. Все трое в черных полумасках; но в боярине по фигуре я тотчас Шмелева признал. Подхожу с поклоном:

— С приездом, Дмитрий Кириллыч!

— А со мной не поздороваетесь? — говорит боярышня.

Тут я и ее по голосу узнал.

— Ирина Матвеевна! Так вы вовсе, значит, и больны не были?

— Я никогда не болею. Дмитрий Кириллыч у нас же ведь остановился, чтобы Варвара Аристарховна не догадалась.

— И наряд этот сами себе смастерили?

— Куда уж мне! Не такая мастерица. Дмитрий Кириллыч из Петербурга привез, в театре напрокат взял; отсюда назад отошлет.

Тут Луша вернулась:

— Пожалуйте, господа!

Раскрыла нам дверь в гостиную. На диване старики Тобухины восседают с моей матушкой; по сторонам в креслах — Варвара Аристарховна с братцем. Поводырь же, выведя на середину комнаты медведя (конюха Филатку в вывороченном наизнанку тулупе), разные штуки выделывать его заставляет:

— А ну-ка, Мишенька, покажи господам, как малые ребята горох воруют... Как красные девицы белятся, румянятся и в зеркальце глядятся...

Но музыкант дворовый, кучер Флегонт, окончания комедии не дождавшись, на гар-

монике «Как у наших да у ворот» заводит — и медведь в пляс пускается, на цепи поводыря за собою тащит, а за ними и вся компания увязалась. Прыгают, кружатся, толкаются, ножки друг дружке подставляют.

Тут и я летом вперед вылетел, колесом пошел и господам на диване земной поклон отвесил. А Петя-шалун только того и ждал: скок мне на спину; и повалились мы оба — я ничком, а он кубарем через меня. На сем моя роль и закончилась.

На пороге опричник показался, за ним молодой боярин об руку с боярышней, а опричник перед ними метлой своей дорожку выметает.

Аристарх Петрович на диване лукаво усмеяется, старушки шушукаются, а Варвара Аристарховна словно остолбенела, глаз с гостей не сводит.

Но вот опричник за фортепиано садится, заиграл «русскую» — и поплыла лебедью боярышня, плечами поводит, платочком машет-прикрывается, ручкой боярина манит, а он, бока подперши, гоголем кругом ее обхватывает, да вдруг как ударит в ладоши, каблу-

ками притопнет, ухнет, гикнет — и пошел вприсядку.

Но доплясать им тоже не пришлось. Варвара Аристарховна с кресла к боярину подлетела и маску ему с лица сорвала.

— Митя мой!

Да на шею к нему. Целуются-милуются...

— А про нас, Дмитрий Кириллыч, вы и забыли? — говорит Аристарх Петрович.

Пошел он к ним. Подозвал и опричника, знакомит:

— Позвольте представить вам моего спутника: юнкер Семен Григорьич Сагайдачный.

Тот снял тоже маску: совсем еще молодой, не старше меня; усики едва пробиваются, но глаза с хитрецей, вкрадчивые, так в душу тебе и заглядывают.

— Сагайдачный? — переспросил Аристарх Петрович. — В Запорожской Сечи, сколько помнится, был знаменитый кошевой атаман Сагайдачный?

— Родоначальник мой, — говорит юнкер. — А по женской линии я племянником довожусь министру графу Разумовскому.

— Алексею Кириллычу? О! Родным пле-

мянником?

— Не то чтобы родным, а так... в третьем колене. Однако, простите: я заставляю ждать танцоров.

И уселся опять за фортепиано, командует по-военному:

— Стройся: кадриль!

Шмелев за ручку на сей раз уже не свою боярышню берет, а невесту.

— А кто же, — говорит, — будет нашим визави?

— Ириша. Кавалера себе она пусть сама выберет. Ириша озирается на «кавалеров» и подходит к Аристарху Петровичу:

— Позвольте просить вас...

— Нет уж, — говорит он, — мои годы прошли. Тогда она с внезапной решимостью ко мне:

— Пойдемте, Андрей Серапионыч.

Я тоже было на попятный: никогда-де танцевать не учился...

— Ничего, — говорит, — я вас научу. Только снимите, пожалуйста, ваш противный нос!

— А вы вашу маску.

Так, в своем всегдашнем уже обличье, мы

рука об руку стали против жениха и невесты.

Господи Боже Ты мой, что это была за кадрили! Я без конца путал, а она меня пресерьезно наставляла.

Да и как было не путать? Танцевала ведь со мной боярышня в древнерусском опашне, в венце жемчужном в виде терема в три яруса; а из-под венца на меня две яркие звездочки сияли...

— Знаете ли что, Ирина Матвеевна?.. — говорю я ей.

— Что?

— Вы теперь как будто... не знаю уж, как сказать...

— Выше ростом. Это оттого, что не в коротком платье.

— Нет, не то... В этом пышном наряде вы и лицом вдвое пригожей, как есть писаная красавица.

Вспыхнула и глазками блеснула.

— Вы думаете, что мне всего пятнадцать лет, так можете мне всякие глупости говорить!

— Простите, но видит Бог...

— Прощаю. Годами вы хоть и на три года

меня старше, а все еще мальчик.

— Мальчик, да инвалид: кровь за отечество проливал.

— А плечо у вас разве еще не зажило?

— Зажило; даже в дурную погоду не ноет.

— Вот видите. А по вашему дневнику можно было думать, что вы на смерть ранены.

— Так Варвара Аристарховна показывала вам мой дневник?

— Да, мы его вместе читали и...

— И смеялись?

— Нет, горячими слезами обливались! Чтобы вам, право, писать опять дневник? Я очень люблю посмеяться.

Невеличка птичка, а ноготок востер! На этом кадриль кончилась, да и разговор наш с Пришей. Подали сласти; дворовых тоже пряниками и орехами оделили.

Но свеча почти догорела, а вот и часы бьют, — три часа ночи! Остальное уже завтра.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Кто подарил дневник. — Про Наполеона, Александра I, Кутузова и графа Дмитриева-Мамонова. — Кандидат в «мамоновцы-мамаевцы»

* * *

Января 7. Продолжаю. Вчера, в день своих именин, только что встал, налил себе чаю (маменька в кухне именинный пирог готовила), как откуда ни возьмись босоногая девчонка.

— Велели передать.

И подает мне пакетец.

— Да ты от кого?

— Не велено говорить. И шмыг за дверь.

Развернул: увесистая тетрадь. Перелистываю: одни белые страницы. Но на первой надпись печатными литерами (дабы почерком своим, значит, себя не выдать):

Дневник А.С. Пруденского

Ириша! Ясное дело. Иду в кухню.

— Вы, маменька, кого на пирог позвали?

— Да всех Толбухиных с гостями.

— А Елеонских?

— Пока-то нет. Думала: нынче на водосвя-
тии поспею. Да вот с пирогом, вишь, замешка-
лась...

— Так я, маменька, буду на Иордани, скажу
им. Хорошо?

— Скажи, милый, скажи.

И вот, на Иордани, когда молебствие ото-
шло, я — к о. Матвею:

— Так и так, батюшка: не пожалуете ли к
нам на именинный пирог?

— Спасибо, дружок, благодарствую. Ну а
матушка-попадья моя на ломоту свою опять
жалуется.

— А Ирина Матвеевна?

— С нею ты лучше сам уж поговори. У нее
нынче семь пятниц на неделе.

Побежал я, нагнал ее, приветствую.

— Здравствуйте, — говорит, а сама шагу
прибавляет.

— Да куда вы так торопитесь? — говорю. —
Я хотел просить вас тоже на именинный пи-
рог...

— А кто у вас именинник?

И глядит на меня, лукавица, так невинно-вопросительно, что меня снова сомнение взяло.

— Именинник — я сам, — говорю. — А вы разве не знали?

— Откуда мне знать? Мало ли Андреев в святцах? А у самой раскрасневшиеся от мороза уши и щеки еще ярче зарумянились.

— Какая-то добрая душа, — говорю, — презент мне сделала — тетрадь для дневника.

— Вот как? Очень рада. А на пирог родителей моих вы пригласили?

— Пригласил. Батюшка ваш обещал быть.

— Так и я с ним буду.

Пирог матушка испекла на славу. Все похваливали; а кто и от второго куска не отказался. Пирог, как полагается, чаем запили; за чаем разговорились.

— Так дело, значит, решенное, — говорит Аристарх Петрович: — наши войска границу переходят?

— Первого числа должны были быть уже за Неманом, — говорит на это Шмелев.

А о. Матвей со вздохом:

— Помяни, Господи, царя Давида и всю

кротость его! Мало крови еще на родной нашей ниве пролито; надо, вишь, и чужие обогреть!

— Простите, батюшка: это все равно, что кровопускание тяжкобольному: вовремя не пустить ему крови, так не выживет.

— Да кто, по-твоему, сын мой, тот тяжкобольной? Что-то в толк не возьму.

— А как же, весь Запад Европы. Под игом ненавистного завоевателя все народы там стоном стонут. На престолы Италии, Испании, Вестфалии свою родню он понасажал, и слушаются они его слепо во всем, как Великомогола. Швейцарский союз дань платить себе заставил. Из немецких монархов один лишь тесть его, император австрийский, не подпал под его тяжелую руку и обеспечил себя дружеским договором. Прусский король еще кое-как выворачивается, но с опаской и оглядкой. Остальные же германские короли и герцоги перед злодеем пикнуть не смеют; что прикажет, то и делают.

Тут и я смелость взял, от себя добавил:

— Ведь и к нам, в Россию в прошлую кампанию сколько этих саксонцев и баварцев,

виртембержцев и баденцев нагнал! И все-то почти, по его милости, костями у нас полегли.

— Все это так, — говорит Аристарх Петрович. — Но из всего полумиллионного полчища Наполеонова через Березину сколько уплелось? Едва ли десятая часть, да и та в самом жалком виде. Чего же еще?

— Извините, Аристарх Петрович! — загорячился Шмелев. — Кровожадного дикого зверя до конца добивают. А Наполеон далеко не добит. Крепости от Варшавы до Рейна еще в его руках; пасынок его, вице-король итальянский, весь остаток «великой армии» собирает в Позене: сам он вызывает из Франции свои запасные войска, ускоренно набирает новых рекрутов; а союзники его, австрийцы, под начальством князя Шварценберга, его же креатуры, целым корпусом двинулись к нашей границе. На кого же они, скажите, ополчаются?

— Ну, к нам-то, в Россию, вряд ли опять сунутся, — возразил Аристарх Петрович, — чересчур обожглись. А видит он, что обаяние его на другие народы прошло...

— И хочет наложить на них прежний

гнет? Неужели же нам, русским, спокойно это снести? У соседа горит, а мы будем смотреть, сложа руки: наша хата с краю? Нет, уж извините, этому не бывать!

Тут и юнкер Сагайдачный свое слово ввернул:

— Из Наполеоновых лавров, пока не совсем увяли, хоть листочек себе тоже урвем.

— Ох, молодость, молодость! — говорит о. Матвей. — Вас, юношей, за пыл ваш не осуждаю; ристалище отличий и мужей степенных соблазняет. Но светлейшему князю Кутузову, преславному фельдмаршалу всероссийскому, признаться, дивлюсь: ведь одной ногой в гробу уж стоит, а туда же!

— Сам-то Кутузов, пожалуй, и раздумал бы еще воевать, — говорит Шмелев. — Приятель его, государственный секретарь Шишков убеждал его, что Россия наша от неприятельского нашествия и так уже много пострадала, что сперва надо залечить собственные раны, а не приносить еще новые жертвы ради чужих нам людей...

— Ну вот, ну вот. Что же я-то говорю? А Кутузов что на это?

— Кутузов: «Правда твоя, — говорит, — поход этот сопряжен с немалыми пожертвованиями, с великою отважностью. Но государь смотрит на дело шире: и те чужие нам люди для него — братья во Христе, и он решил не покладывать оружия, доколе не освободит их». — «Да сам-то ты, князь, — говорит Шишков, — думаешь ведь иначе? Почему же ты не настоишь на своем перед государем? По твоему сану и твоим подвигам он уважил бы твои советы». А Кутузов на то: «Представлял я царю мои резоны, но он печется о благе не своего только народа, а всего человечества, и совсем опровергнуть его в этом пункте никакой логики не хватает. Да еще, признаться, ангельская доброта его меня обезоруживает: когда я привожу ему такие доводы, против которых спорить невозможно, он, вместо всякого ответа, обнимет меня да поцелует. Тут я заплачу и во всем уже соглашусь с ним».

Рассказ Шмелева нас всех растрогал, даже Аристарха Петровича.

— На месте Кутузова, — говорит, — я тоже не устоял бы. Будь мое здоровье покрепче, я и сам, пожалуй, поехал бы в армию...

— Перестань, ради Бога, перестань! — жена его перебила. — И без тебя там довольно людей помоложе.

— Так за себя, папенька, меня пошлите! — вызвался Петя.

— И дядьку Мушерона с собой тебе дать, чтобы спать укладывал?

Петя губы надул.

— Точно я еще маленький!

— Погоди годика три-четыре, — говорит Шмелев, — тогда тебя, быть может, и пустят со мной. Андрей Серапионыч — другое дело: пороку уже понюхал...

— И в Березине выкупался! — с задором Петя подхватил.

Все взоры тут на меня обратились, и мне неловко стало: сколько ведь таких же юношей русских идет спасать Европу от изверга рода человеческого, а я сижу себе дома за печкой...

— Да что ж, говорю, — я хоть сейчас готов идти опять...

Матушка мне договорить не дала.

— Ну, ну, ну! И думать не смей. Хорошо еще, что пуля в плечо, не в грудь угодила; то и

жизни бы решился.

— Рука Всевышнего на сей раз пулю отвела, — говорит о. Матвей, — дабы матери ее сына-кормильца сохранить. Хоть умирать за отечество и отрадно: «*Duke est pro patria mori*», — сказал некогда еще язычник Гораций; но от судьбы своей никому не уйти: море житейское тоже подводных камней преисполнено...

— То-то вот и есть, — подхватил Шмелев. — Простите, Аристарх Петрович, что выскажусь прямо. Благодаря только вашей доброте, молодой человек имеет кусок хлеба. Будущности же у него никакой впереди. А на войне он может выдвинуться; плохой солдат, что не надеется стать — не говорю: генералом, а хотя бы майором...

Тут Петя руку к виску приложил и ногою шаркнул:

— Здравия желаем г-ну майору!

— Экой сорванец, прости Господи! — говорит о. Матвей. — *Sunt pueri pueri, pueri puerilia tractant.*

— А по-русски это что значит, батюшка? — спрашивает Петя.

— Вот латинист тебе переведет. Аль не дошел еще до сего в бурсе?

— Отчего, — говорю, — не перевести: «мальчики суть мальчики, и ведут себя по-мальчишески»...

— Bene.

Петя же не унимается: схватил с окна кивер Шмелева и — мне на голову.

— Вот и майор готов!

Премного все тому смеялись. Одна Ириша только, вижу, покраснела, как маков цвет, и очи в пол потупила. Вспомнила, знать, суженого-ряженого в зеркале...

Ну как же мне было в дневник, ею подаренный, всего этого не записать?

* * *

Января 8. Из Смоленска известие пришло, что наши войска в самый Новый год Неман перешли. Война, стало быть, уже не у нас разгорится, а по ту сторону границы, у поляков да немцев. Шмелев со свадьбой торопит; пробыть здесь он может ведь только четыре дня. У меня же искра в душу запала, мысль одна из головы не выходит...

И вот, нынче, когда Аристарх Петрович ме-

ня к себе в кабинет позвал, да поручил мне в Смоленск за шампанским съездить, откуда у меня смелость взялась, так прямо ему и брякнул:

— Аристарх Петрович! Отпустите меня с Дмитрием Кириллычем в армию.

Старик глаза на меня вытаращил.

— Что? Что? в армию? Да не он ли и подбил тебя?

— Нет, — говорю, — я от себя.

— Какая тебя блоха укусила! Ни с того, ни с сего...

— Да как же, когда все освобождать Западную Европу идут...

— Тебя одного там недостовало! Освободитель тоже нашелся! Как узнает Наполеон, так в тот же час пардону попросит.

А я все свое:

— Отпустите! Сделайте уж такую божескую милость! Пойду я ведь за вас и за вашего Петю...

— В майоры, а то и в генералы метишь? Ну да что ж, — говорит, — ты не крепостной у меня, а вольный человек; силой удержать тебя я не могу. Только сходи-ка за Дмитрием Кирил-

лычем; сперва с ним пообсудим дело.

Сбегал я за Шмелевым.

— Так и так, — говорю. — Не выдайте меня, голубчик, поддержите!

— Хорошо, — говорит. — За мной дело не станет. Да что матушка ваша еще скажет?

— Ей, понятно, до поры до времени ни слова. Когда все устроится и поворота назад уже не будет, тогда и скажем.

Приходим к Аристарху Петровичу.

— Каков молодчик? — говорит он Шмелеву. — Что в голову себе забрал.

Но тот не выдал:

— А что ж, — говорит, — из капель целая река составляется, из людей — армия. А такая капля, как вот эта, — говорит и по плечу меня хлопает, — десяти других стоит.

— И вы, Дмитрий Кириллыч, значит, его еще одобряете, не прочь даже с собой взять?

— С удовольствием возьму. Вопрос только в том, чем ему там быть. В рядовые такого латиниста сунуть жалко, хотя латынь на войне ему и не к чему; а сдать экзамен на юнкера по другим предметам, по совести говоря, сможете ли вы, Андрей Серапионыч?

Покраснел я, замялся.

— В науках, — говорю, — я, правду сказать, никогда силен не был...

— А по уходе из бурсы и последнее, я чай, перезабыл? — досказал за меня Аристарх Петрович. — Как же быть-то?

— Один выход, по-моему, — говорит Шмелев, — записаться ему добровольцем в ополчение. Покажет он себя там на деле, так потом его охотнее и в регулярное войско юнкером примут. Прозкзаменуют его больше для проформы.

— Добровольцем в ополчение? — повторил Аристарх Петрович и задумался. — А знаете ли, ведь это — идея. Я мог бы даже некоторую протекцию оказать.

За это его слово я, как утопающий за соломинку, ухватился:

— Окажите протекцию, Аристарх Петрович, будьте благодетелем! Стыдиться за меня вам не придется.

— Дело в том, — говорит, — что некогда я довольно дружен был со стариком графом Дмитриевым-Мамоновым, Александром Матвеичем...

— Это не тот ли Мамонов, — спрашивает Шмелев, — что одно время был в таком фаворе у императрицы Екатерины?

— Он самый. Просвещеннейший из вельмож, вместе с императрицей составлял для эрмитажного театра так называемые «пословицы» — «провербы», сам тоже несколько пьес французских сочинил. А по богатству своему был настоящий Крез: в одном нижегородском наместничестве было у него до 30-ти тысяч душ. На Александровской звезде своей имел бриллиантов на 30 тысяч рублей, а на аксельбантах — на 50 тысяч. Даже в деревне у себя в селе Дубровицах Московской губернии на сельских праздниках наряжался, бывало, в полную парадную форму, со всеми орденами, звездами и бриллиантовыми даже эполетами. Жар-птица, да и только! Ну, да и возносился же он своей знатностью над простыми смертными! Учителям детей своих, людям образованным, не позволял при себе садиться, кроме одного только почтенного старика, да еще гувернантки, мадам Ришелье, которую нарочно из Парижа для дочери выписал.

— Виноват, Аристарх Петрович, — перебил

тут Шмелев. — Но ведь того Мамонова, кажется, и в живых уже нет?

— Да, помер он лет с десять назад. Но после него сын остался, Матвей Александрович, единственный потомок мужского пола и главный наследник всех его миллионов. Видел я его только мальчиком, но и тогда уже он острого был ума, большие подавал надежды. В 18 лет он был камер-юнкером, а 21-го года — обер-прокурором сената.

— Однако! Да ведь это такая должность, где требуется очень зрелый ум и громадная опытность?

— А вот, представьте себе: когда он в первый раз в сенат приехал и показали ему там резолюцию сенаторов по одному уголовному делу, то, в разрез с их приговором, он тут же набело свое собственное мнение набросал и подал обер-секретарю: «Прочтите господам сенаторам»...

— Ну, и что же?

— Прочел тот, и седовласые государственные люди хоть бы слово возразили, все до единого с мнением юного обер-прокурора согласились.

— На редкость, должно быть, светлая голова.

— Светлая, но и горячая, сумасбродная: когда полгода назад Отечественная война возгорелась, и богачи-патриоты Гагарин да Демидов свои полки ополченцев выставили, он точно так же на свой кошт целый конный полк вооружил, так и прозванный «Московский казачий Дмитриева-Мамонова полк», и сам во главе его стал с чином генерал-майора.

— Вот так так! А обер-прокурорство его что же?

— В трубу ушло. Шалый какой-то, говорю я вам.

— Да сколько же ему теперь лет?

— Двадцать два-двадцать три, не больше.

— И уже генерал! Так к нему-то вы и адресуете этого молодого человека?

— Да, могу дать письменную рекомендацию. Не знаю вот только, где-то он со своим полком ныне обретается.

— Это мы в Смоленске разузнаем, а то и в главной императорской квартире. Он верно двинулся тоже за границу. Пока бы Андрею Серапионычу только заграничный вид вы-

править.

— Ну, об этом я пару слов нашему губернатору черкну.

Так моя участь, можно сказать, была сразу предрешена. Полчаса спустя с письмом к губернатору в кармане, я сидел уже в санях и летел в Смоленск (дорога легкая, санная), а еще через два часа с небольшим был и на месте.

Представлял Смоленск все то же препечальное зрелище, что и при последнем моем проезде. Но и чувство горести со временем притупляется; взирал я теперь на развалины моего милого родного города более равнодушно, тем паче, что не то на уме уже было.

Первым делом, разумеется, в винный погреб за шампанским; из Питера как раз свежая партия прибыла. А там — к губернатору.

В приемной курьер:

— Вам кого?

— Губернатора: у меня письмо к нему.

— Пожалуйста к правителю канцелярии; они от себя уже доложат его превосходительству.

Провел меня к правителю. Совсем молодой

еще, плюгавенький человечек, но столичный фертик в вицмундире с иголки и с осанкой петушиной. По протекции, знать, тоже посажен.

Не дослушав, головой мотнул.

— Подайте, — говорит, — прошение; гербовую бумагу можете купить у курьера. В свое время будет доложено.

— Извините, — говорю, — но долго ожидать я никак не могу: через четыре дня мне, во что бы то ни стало, надо ехать на театр войны.

Сухим тоном на то отрезал:

— До меня это не касается: при рассмотрении прошений у нас соблюдается строгая очередь.

— Так потрудитесь, — говорю, — доложить самому губернатору: у меня есть к нему рекомендательное письмо.

Ледяная кора на нем в тот же миг растаяла.

— Так бы и сказали. Ваша фамилия?

— Пруденский.

— А рекомендация чья?

— Толбухина, Аристарха Петровича, быв-

шего предводителя дворянства.

— Это совершенно меняет дело. Присядьте, пожалуйста. Где у вас письмо?

Взял и понес в кабинет к губернатору. Немного погодя возвратился оттуда с ответным уже письмом.

— Вот, — говорит, — ответ г-ну Толбухину.

— А в каком смысле?.. Смею спросить.

— В каком смысле?..

— Да, ведь это не канцелярская тайна; потом я все равно узнаю.

— Извольте видеть... — говорит. — Вы желаете поступить юнкером в казачий полк графа Мамонова?

— Желал бы.

— Так к самому-то Мамонову его превосходительство относится не очень-то одобрительно... Впрочем, выдать вам путевой вид до его полка препятствий нет.

— Это-то, — говорю, — мне только и нужно. Через четыре дня я буду опять здесь, в Смоленске. Так могу ли я надеяться, что вид мой к тому времени будет заготовлен?

— Всенепременно.

И руку мне даже на прощанье протянул.

«Любопытно, однако, — думаю, — что бы такое неодобрительное про Мамонова могло быть в этом письме?» И всю дорогу до Толбуховки погонял кучера.

— Ну, Андрюша, — говорит мне, письмо прочитавши, Аристарх Петрович, — неважно твое дело. Про графа Мамонова губернатор вот что мне пишет: «В боях с неприятелем Мамонов участия так и не принимал, ибо со своими ополченцами-казаками всю кампанию стоял в ярославской губернии; тем храбрее, однако ж, воевал на бумаге с тамошним губернатором, князем Михаилом Николаевичем Голицыным, а мамоновцы его своим буйством и бесчинствами прозвище мамаевцев по всей губернии заслужили».

Шмелев, бывший также при чтении сей рацеи, рассмеялся.

— На то ведь они и вольные казаки! Андрею Серапионычу лишь бы к тем мамаевцам юнкером пристроиться, а перевести его потом в другой полк будет уже моя забота: в главном штабе у меня есть близкие люди.

— Коли так, — говорит Аристарх Петрович, — то возражать не стану. А как вот на

счет содержания в походе? Ведь юнкерам по их рангу особого против солдат жалованья не полагается?

— Тот же солдатский паек. По одежке протягивай и ножки. Правда, что в походе кое-какие собственные средства все-таки весьма нелишни; особливо, чтобы выдвинуться перед начальством.

— Как так?

— А так, что если подчиненный в средствах не стесняется, то ему охотнее и всякие ответственные поручения дают, а стало быть, и случаев отличиться ему больше представляется. Казаки же — кавалеристы; казаку нужен и конь, а то и второй запасный, на случай, что первого под ним убьют.

— А такому кавалерийскому коню цена ведь не малая: рублей сто, а то и больше?

— И двести, и пятьсот рублей.

— Та-а-к... — протянул Аристарх Петрович и, нахмурился, по кабинету зашагал.

Сердце в груди у меня упало: прощай мое юнкерство!

Вспомнилось мне тут слово евангельское: «Толцыте — и отверзется, просите — и даст»

ся». Но Толбухины и так уже сколько для маменьки и для меня, недостойного, сделали. Не могу я еще униженно просить, не могу!

Как ни крепился, а на глазах мокрота выступила. Аристарх же Петрович, мимо меня шагая, ту мокроту узрел — улыбнулся.

— Воину, — говорит, — падать духом не полагается. Мамонов для отечества целый полк выставил; так мне одного хоть воина выставить сам Бог велит. Я тебя не оставлю; отправляйся в поход с Богом.

От радостного волнения я и поблагодарить, как надлежало, слов не нашел, схватил только его руку и к устам прижал.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

«Певец во стане русских воинов». — Кошелек «на черный день» и тайное обручение. — Самозванный юнкер

* * *

Января 10. Свадьба сыграна. Церковь была убрана по хорам цветами из оранжереи, а по стенам зелеными елочками. Гостей из соседних поместий понаехало с полсотню. Дружками были тоже два местных дворянчика, юнкер Сагайдачный да я. Фрак одолжил мне Аристарх Петрович, так как сам облекся в свой парадный предводительский мундир. Но ростом я его на полголовы выше, а телом вдвое жиже, и сидел на мне его фрак как на пугале огородном. Подойти к Ирише Елеонской в моем смехотворном наряде я и думать не смел. А Сагайдачный за обедом уселся с нею рядом и болтал, должно быть, всякий вздор, ибо она прыскала со смеху. Меня, признаться, даже досада взяла... Речей за столом было, конечно, без конца. Но Сагайдачный, надо честь отдать, всех превзошел: наизусть

Жуковского «Певца во стане русских воинов» от начала до конца с истинным пафосом произнес, всех присутствующих огнем своим зажег. Когда же здравицу за государя императора возгласил:

*Тебе сей кубок, Русский Царь!
Цветет твоя держава;
Священный трон твой — наш ал-
тарь,
Пред ним обет наш: слава,*

то единодушное «ура!» по столовой прокатилось.

Перед сном, с юнкером прощаясь, я список этих стихов себе выпросил. Воспеваются в них и фельдмаршал, «герой под сединами», и два его сподвижника, коих я лично уже знаю: партизан Денис Давыдов, «пламенный боец, певец вина, любви и славы» и атаман донского войска граф Платов... Про него даже три чудесных куплета:

*Хвала наш вихорь-атаман,
Вождь невредимых, Платов!
Твой очарованный аркан —
Гроза для супостатов.*

*Орлом шумишь по облакам,
По полю волком рыщешь,
Летаешь страхом в тыл врагам,
Бедой им в уши свищешь.*

*Они лишь к лесу — ожил лес,
Деревья сыплют стрелы;
Они лишь к мосту — мост исчез,
Лишь к селам — пышут селы.*

Я-то, правда, вряд ли жег бы села, хотя бы в них и враги засели; но для настоящих воинов война войной; «а ля герр ком а ля герр», говорят ведь сами французы.

* * *

Января 11. Последний день в Толбуховке. Завтра на рассвете — в путь-дорогу. У маменьки сколько дней уже глаза на мокром месте. И самому мне куда горько за нее... да и за Иришу! Слово сказано. Вышло все так нежданно-негаданно...

Вызывает меня к себе Аристарх Петрович.

— Без своей лошади коли не обойдешься, — говорит, — то заведи себе, но, смотри, подешевле. Вот тебе на все про все триста рублей. Будешь бережлив, так на весь поход хватит. А от морозов тебе и твоим двум спут-

никам будет по тулупу.

Стал я благодарить, — окончить не дал:

— Вернешься благополучно, да с честью, тогда и благодари. Что Дмитрий Кириллыч скажет — то и делай: дурному тебя он не научит. А вот с этим Сагайдачным не дружись: хохол, себе на уме; как раз обойдет. Ну, ступай, собирай свои пожитки. Да во что ты их уложишь?

— Маменька, — говорю, — мешок мне сшила...

— Мешок прорвется, да и не гожд для мужчины. Возьми мой старый чемоданчик. Потерт он, да еще крепок, послужит. Не забудь, смотри, и к о. Матвею сходить, благословение на дальний путь получить.

Забывать-то я и так не забыл бы. Самого я не застал: ушел по своим духовным требам. Матушка-попадья сперва тоже ко мне не вышла: по хозяйству, должно быть, захлопоталась. Встретила меня одна Ириша.

— Пришел, — говорю, — проститься перед отъездом. А она, всегда столь бойкая, испуганно, как зайчик, глазки на меня выпучила.

— Да вы разве сейчас?..

— Нет, завтра, но чуть свет; не поспел бы. Заморгала, а на щеках красные пятна выступили.

— Вы, Ирина Матвеевна, — говорю, — не здоровы?

— Здорова... Но у меня к вам, Андрей Серапионыч, просьба...

— Приказывайте. Охотно все исполню.

— Вот возьмите... Сама для вас связала...

И подает мне прехорошенький бисерный кошелек.

— Позвольте, — говорю, — да ведь тут и деньги?

— Да, сорок пять рублей... все золотом: для удобства вашего нарочно разменяла...

— Так что-нибудь за границей купить для вас?

— Нет, это вам самим, Андрей Серапионыч, на черный день...

Точно нищему подаяние! А трогательно: верно все, что за век свой скопила.

— Чувствительно благодарен, — говорю. — Но Аристарх Петрович дал уже мне на дорогу...

— Нет, нет, пожалуйста! Когда станете

офицером, можете возвратить.

— Хорошо. Денег ваших я не трону и возвращу вам их в целости, как только вернусь из похода: кошелек же ваш оставлю себе талисманом на память.

— А от вас самих, Андрей Серапионыч, я ничего на память не получу?.. Ах, знаю!

И из другой комнаты ножницы принесла.

— Наклоните голову.

Наклонился я; она — чик-чик — и прядь волос у меня отрезала.

— Из этого, — говорит, — я себе колечко сплету...

— Так вашего собственного колечка с бирюзой вам уже не надо?

— Блеснула своими звездочками и колечко с пальца сняла.

— Непотеряйте только...

Так-то мы с нею, якобы, обручились, ни словом о том не обмолвясь. Тут вошел ее родитель, и разговор наш сам собой пресекая.

* * *

Смоленск, января 12. Прощай, Толбуховка! Прощай, Ириша! Когда-то еще свидимся? И хоть бы проститься напоследок с глазу на

глаз дали! А то при других только руку другу другу пожали, как простые знакомые: «Здравствуйте и прощайте».

С маменькой расставанье было, разумеется, самое слезное. А после нее сердечнее других Мушерон со мной прощался.

— Вы, Андре, мне все равно что родной, — говорит. — Скажите-ка: что у вашего императора Александра замышлено? Далеко ли он пойдет на Запад?

— Раньше, — говорю, — не остановится, доколе Наполеона в конец не одолеет.

— Хотя бы пришлось идти до самого Парижа?

— Хотя бы и до Парижа.

Мой бравый сержант столь скорбную мину соорил, что вот-вот, думаю, тоже расхнычется. И сердит-то он еще по-прежнему на своего бывшего кумира, и жалость за него немалая берет.

— Как Богу угодно, так пускай и будет! — говорит. — Коли уж суждено вам, друг мой, побывать у нас в Париже, так загляните к моей сестре, поклонитесь ей от брата Этьена Мушерона. Дневник ведь вы будете опять вести?

— Буду.

А нынче, на рассвете, когда мы со Шмелевым и Сагайдачным в сани садились, старик меня крепко-крепко к груди прижал и вправду заплакал. Ну, тут и я не выдержал...

Сюда прибывши, отправился за своим видом в губернаторскую канцелярию; мои два спутника на всякий случай тоже со мною.

Правителя канцелярии на месте не застали. Но у входа в губернаторский кабинет курьер навтыяжку, и самая дверь настежь, а за дверью гневный голос кого-то распекает:

— Так, сударь мой, служить нельзя! Сколько раз повторять вам, что приказания мои должны быть исполняемы буквально, понимаете: буквально! Усердную службу я не оставляю без внимания, но за малейшее уклонение от моих указаний я строго взыскиваю, невзирая ни на тетюшек, ни на дядюшек. Так и знайте!

Умолк, и вслед затем оттуда выскочил правитель канцелярии — не гордым уже петухом, а мокрой курицей. Увидел нас около своего стола — еще пуще оторопел, назад оглянулся: притворил ли курьер дверь к грозному

начальнику. Подошел и обращается к Шмелеву, а у самого голос еще дрожит-обрывается:

— Чем могу служить?

Объяснил ему Шмелев. Взглянул тот на меня — узнал.

— Г-н Пруденский? В полк к графу Дмитриеву-Мамонову? Вид вам изготовлен. Извольте получить.

Подает мне. Читаю.

— Простите, — говорю, — но тут у вас не то.

— Как не то?

— Вы назвали меня юнкером полка Мамонова...

— Ну да. Ведь сами же вы говорили? Да и в письме г-на Толбухина было так сказано... Где ж оно?

Все еще не оправясь от губернаторской распеканции, он растерянно начал рыться в грудe бумаг на столе.

— Да, вот. Извольте видеть...

Он стал было читать, но, не дочитав, запнулся.

— М-да... Так вы, значит, еще не юнкер?

— То-то, что нет, а только рассчитываю им

сделаться.

— В письме не совсем ясно... Для вас-то это ведь все равно? Лишь бы добратсья до полка.

Тут вступился опять Шмелев.

— Далеко не все равно, — говорит, — в документах требуется совершенная точность. Будьте же любезны переделать бумагу.

Раскрасневшееся лицо правителя разом, как смерть, побледнело.

— Переделать?.. Нет, уж извините меня, это невозможно, решительно невозможно...

— Почему же нет?

— Да потому... потому что, раз подпись его превосходительства стоит внизу, то о какой-либо переделке и речи быть не может.

— Да ведь тут явная ошибка: подписал он вовсе не то, что следовало. Я пойду объяснюсь с ним самим.

До последней минуты молодой чиновник еще крепился. Но намерение Шмелева объясниться с самим губернатором окончательно его обескуражило.

— Ах, господа! — взмолился он. — Войдите же в мое положение! Его превосходительство не признает, чтобы он мог ошибаться... Если

он узнает об ошибке, то все обрушится на меня...

— И вы, чего доброго, еще места лишитесь? — досказал Сагайдачный.

— Все может случиться... Г-н Пруденский! У вас есть еще родители?

— Матушка еще жива.

— Так здоровьем вашей матушки прошу вас: не настаивайте!

В голосе его слышались уже слезы. В своем самоуничижении он был теперь так жалок...

— Да что, Дмитрий Кириллыч, — говорю я, — ведь может быть, в самом деле, и так сойдет?

— Как не сойти? Сойдет! — поддакнул Сагайдачный. А правитель тому и рад:

— Разумеется, — говорит, — сойдет! Ведь юнкером у графа Мамонова вы, г-н Пруденский, во всяком случае, сделаетесь...

— Как ваше мнение, Дмитрий Кириллыч? — спрашиваю я Шмелева.

Правитель, молитвенно сложив руки, взор свой на него умильно, как на некоего оракула, возвел. И сердце Дмитрия Кириллыча не устояло.

— Мамонов, сколько слышно, тоже не формалист, — говорит, — и ошибку, надо думать, в фальшь не поставит.

Правитель просиял и готов был, кажется, его расцеловать.

— Так вы, г-н Пруденский, значит, удовольствуетесь этим видом? Как я вам признателен!

И обеими руками так крепко мне руку стиснул, что пальцы у меня хрустнули; на прощанье прибавил:

— Позвольте дать вам добрый совет: никогда не умничайте перед начальством, а прикидывайтесь дурачком, чтобы оно могло наставлять вас и сознавать свое превосходство.

— Примем к сведению и намотаем себе на ус, — сказал Сагайдачный и закрутил свой усик — мышинный хвост. — Держи язык за зубами, да ешь пирог с грибами.

Но Шмелев отнесся к «доброму совету» иначе. Когда мы вышли на улицу, он заметил:

— Недоумкам, как этот правитель, вернее всего, конечно, молчать. Человек же с умом и тактом, если знает что-нибудь лучше началь-

ника, сумеет всегда переубедить его, не задев его самолюбия.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Схватка с волками. — Александр I в Вильне. — Как встречали русских в Пруссии и как в герцогстве Варшавском. — Начало военных действий

* * *

Вильна, января 19. Шмелев и Сагайдачный уже в объятиях Морфея; но я дневник свой дорожным приключением заполнить еще должен.

Уж как мы трое Аристарха Петровича за его овчинные тулупы добром поминали! Ведь морозы, легко сказать, до 30? доходят! А войскам-то нашим в шинелях, ветром подбитых, каково было пешком десятки и сотни верст отсчитывать? Но они, как-никак, все же одеты, обуты, сыты, да и к русским морозам сызмала при-обыкли. Ну, а французы, что в отрядах этим же путем восвояси убирались, — чего-чего те не натерпелись! И согреться им по пути негде и нечем было: все селения кру-

гом ими же ведь еще при нашествии к нам сожжены, разорены, одни трубы черными остовами над снегом торчат. Дорога от самого Смоленска — одно поле сражения: непогребенные тела неприятельские — десятки тысяч тел, сраженных, однако ж, не пулей и саблей, а холодом и голодом. Возмездие небесное!

Хоть и немало их совсем снегом занесло, а все же, где они кучей лежат, там верхние вороньем исклеваны, волками обгрызены. При одном виде такой картины мороз по коже подирает!

Вот с этим зверем и мы третьего дня познакомились. Ехали мы на тройке с колокольчиком и бубенцами. Сани широкие: рядом все трое уместились. Шмелевский денщик Прытков у ямщика на облучке примостился. Дело было уже к вечеру. Выезжаем только что из лесу на открытую поляну, глядь — у самой у опушки волк нас поджидает, да ведь какой! Матерый, не волк — волчище! Звонки наши, знать, из чащи его выманили: на дорогу поглядеть вышел, живым мясцом нельзя ли поживиться.

— Страсть как обнаглел ноне зверь, — говорит ямщик. — На одинокого мужичка, да еще пьяненького, наверняка напал бы. Ишь, зубами ляскает! Да, брат, близко локоть, да не укусишь.

— Стой, ямщик! — говорит Сагайдачный. — Припугну-ка я его.

Выскочил из саней и с саблей наголо дерзновенно на зверя. А тот хоть бы что, стоит себе на месте и ждет. Только глаза, что две свечки, горят, да шерсть на загривке ощетинилась.

Размахнулся на него сплеча мой юнкер, а волк скок в сторону, — мимо! Юнкер опять на него, вдругорядь размахнулся, а волк — за куст.

— Эй, назад, господин! — кричит ямщик. — Вон к нему подмога идет.

И точно, из чащи целая стая волчья выступает; Сагайдачный же, от неудачи раззадоренный, ничего уж не слышит, со своей саблей все на передового товарища их напирает.

— Да они его растерзают! — говорит Шмелев. — Где моя сабля? Ты Прытков, куда ее сунул?

— Под сиденье, в сено, ваше благородие, — говорит денщик. — Неравно еще под ноги бы вам попала.

— Позвольте, Дмитрий Кириллыч, — говорю я, — вам ее сейчас достану.

— Где уж...

Выхватил из-за пояса пистолет и бегом на помощь к приятелю. А волки того уже окружили; он саблей от них, знай, только отбивается.

Подбежал Шмелев и первому же волку, что на него обернулся, заряд в отверзшую пасть — бац! — на месте положил.

Прочие, выстрелом ошарашенные, назад отпрянули. Но из пасти убитого кровь ручьем хлынула, и вид крови зверскую алчность в них еще пуще возбудил, на своего же товарища накинулись — голод утолить.

Тем временем я шмелевскую саблю в сене нашарил, обнажил и — туда же. На выстрел приятеля Сагайдачный невольно оглянулся, да вдруг как завопит: волк-чудище зубами в руку ему вцепился. Но тут я подоспел, со всего маху волка саблей по затылку хватил, и повалился он замертво.

— Ну, теперь назад, господа, — говорит Шмелев.

Отступали мы с оглядкой, да волкам было уже не до нас: на павшего в бою атамана своего набросились всей стаей. Так-то мы невозбранно до саней своих опять добрались.

— Пошел, ямщик!

До станции десять верст в полчаса отмахали. От волчьих зубов кисть руки Сагайдачного здорово распухла, и кровь долго не унималась. Но он по-прежнему уж храбрится, шутит:

— Почин дороже денег, — говорит, — ради опыта уже кровь свою проливал.

А Шмелев:

— И благородно, — говорит, — ретировались. Января 20. Вильна с виду — город преизрядный; пожарного бедствия он избегнул, но от проходивших войск неприятельских, а потом и наших, жители немало-таки пострадали. Нажились одни еврей-факторы, от которых тут отбоя нет.

Все, однако, и евреи, и поляки, и хозяин гостиницы из немцев, в один голос государем не нахвалятся. Пробыл он здесь со своим шта-



Схватка съ волками.

бом две недели, и каждодневно по госпиталям ходил, где раненые в заразной горячке лежали, больных утешал и умирающих; а в городе всех обнищавших деньгами оделял, в том числе и французов, что по улицам за подаванием бродили. Однажды к нему такой француз руку протянул:

— Хлеба, г-н офицер! С голоду умираю.

Не узнал того, с кем говорит. А государь по-французски же:

— Идите за мной.

Провел его до своей царской кухни.

— Повар, — говорит, — поймет вас. Скажите ему, что брат великого князя Константина накормить вас велел.

Тут только, на кухне, узнал француз, кто был тот брат великого князя.

Выехал государь из Вильны в первый день Рождества тотчас после обедни и почти без всякой свиты.

— И как это вы государя без конвоя пускаете? — говорят фельдмаршалу Кутузову.

А Кутузов:

— Да у кого на этого ангела рука подымет-ся?

Пруссия, г. Лик, января 22. Вот мы и за границей! Первый городок пограничный. Мал золотник, да дорог: домики все чистенькие, в розовый цвет, в голубой либо желтый окрашены; крыши черепичные прочные. На улицах такая же чистота и порядок; всяк по делу своему идет; ни ругани, ни пьяных. Точно на другую планету попали.

Еще в Вильне нам говорили, что пруссаки нам добрые друзья. И вправду, как только мы здесь на постоялый двор въехали, от бургомистра приглашение — сделать ему честь. Из себя видный, поперек себя толще; но принял нас весьма благосклонно, пенистого пива подать нам велел, трубки кнастером набил и дифирамб русским пропел. Сам-то я ничего почти не уразумел, да и Шмелев больше глазами хлопал. Но юнкер наш в немецкой Петришуле в Петербурге воспитание получил, по-немецки бойко болтает, и после нам всю его речь от слова до слова передал.

Так мы узнали, что при въезде нашего государя в Лик, 7 января, триумфальные ему ворота воздвигнуты были, жители стар и мал за

ним, да и за всеми русскими, толпой устремились с криками: «ура!» и «виват!», а вечером большую иллюминацию зажгли.

Только досказал бургомистр свое слово, как его сын-студент вихрем ворвался — на макушке трехцветная шапочка, по жилету такая же ленточка, а через всю щеку красный шрам — и каждому из нас руку потряс.

Теперь, — говорит, — когда ваш Витгенштейн Берлин освобождать идет, а император Александр и Кутузов с главной вашей армией с запада напирают, — вся Пруссия тоже, как один человек, против Наполеона восстанет. Генерал Иорк еще ведь в декабре месяце с вами перемирие заключил, а генерал Макдональд к вам прямо уже примкнул...

— И все с ведома и с согласия вашего короля? — спрашивает Сагайдачный.

— Не иначе. Наш Фридрих Вильгельм III ждет не дождется, как бы сбросить иго проклятого корсиканца. Обещался уже Кутузову выставить от себя 50 тысяч войска. А пойдем мы, бурши, и все, кто оружие носить может, так будет нас не 50, а 500 тысяч!

— Так вот вас, желтоклювов, и пустят, —

говорит отец (у немцев «желтоклюв», «гельбшнабель», то же, что у нас «молокосос»). Тебя первого я не пущу: за место того, чтобы смирно сидеть на скамейке, да лекции слушать, домой, вишь, прискакал и других юнцов еще подбивает.

— Да кому, отец, теперь до лекций? Не одни студенты, — и профессора с нами на войну собираются. Да и сам же ты, отец, признайся, будь ты лет на десять моложе, тоже ведь пошел бы с нами.

Улыбнулся на то отец и трубкой отмахнулся.

— Вот и толкуй с ним! — говорит. — Знает, за какую жилку отца тронуть. Вон какой рубец на щеке; на рапирах с товарищами бился. А с какими еще рубцами с войны воротится!

— Хоть бы и калеккой воротился, — говорит сын, — или голову сложил, — что вперед загадывать? Никого чаша смертная не минует. Ведь вот русские, чужой нам народ, идут же за нас кровь проливать; так ужели нам, немцам, для родины собой не жертвовать?

И глаза юноши при сем мужественно блистали, а красный шрам на щеке еще ярче раз-

горелся, но лица его не безобразил, а напротив, большую еще красоту ему придавал.

* * *

Иоганнисбург, января 24. Здесь тоже, что и в Лике: от души ли, по политическим ли резонам, но принимают, угощают на славу, как родных. Императору же нашему при проезде 11 числа, был, говорят, небывалый прием. От самой заставы до царской квартиры, по обе стороны дороги выстроившись, прусские инвалиды ружьями всякие воинские артикулы проделывали и неумолчно «виват!» кричали. Когда же государь с лошади сошел, две молодые девицы с венками подошли и на голову ему возложили. Вечером перед царской квартирой транспарант запылал: «Александр Великому избавителю Европы», и народ от восторга так возликовал, что государю пришлось у окошка показаться. Но тут пошли уж такие крики, что начальник главного штаба, князь Волконский, вынужден был вниз сойти и попросить крикунов по домам разойтись.

Отсюда Главная армия двинулась в герцогство Варшавское, куда за сим и нам путь лежит.

Плоцк, января 27. Слава Тебе, Господи, наконец-то в Главной армии! Все квартиры в городе и предместьях заняты нашими войсками. Прибыли мы вчера уже в сумерках, и не добились бы пристанища, не выручи нас знакомый Шмелеву по корпусу поручик Хомутов. Состоит он в царской свите по квартирмейстерской части и водворил нас в дом к одному польскому семейству. Волей-неволей пустили нас к себе, но с косыми взглядами исподлобья.

— Поляки не то что немцы, — говорил Хомутов. — Одного с нами племени, но потому-то и исконные враги наши; все равно что волки и собаки. Наполеон для них до сих пор полубог. При вторжении его в Россию первым через Неман переплыл ведь Понятовский. Ну, а теперь им приходится считаться с нами, и нам с ними; насильно мил не будешь.

Справлялся я в штабе, не стоит ли здесь, в Плоцке, со своим конным полком и граф Дмитриев-Мамонов.

— Нет, — говорят. — Бог его ведает, где этот сорвиголова шатается. Должен был перейти

границу у Гумбинена, но перешел ли — никаких сведений не имеется. Идет себе, видно, вперед без оглядки на свой страх.

— Так как же, — говорю, — мне-то быть?

— Да вид у вас какой-нибудь есть?

— Есть...

— Так и оставайтесь пока у нас. Куда же вам деться, коли местонахождение вашего полка неизвестно?

Надо бы было мне заявить, что вид у меня не от полка, а от губернатора и неправильный, да язык не повернулся: чего доброго, в Россию опять по этапу воротили бы!

* * *

Января 28. Варшава 26 числа без выстрела сдалась, и занимавшие ее австрийцы, союзники Наполеона, мирно отступают. На торжественном по сему случаю молебствии я видел государя и преславного нашего фельдмаршала. Государь был светлорадостен, Кутузов же за три месяца много осунулся и вид имеет удрученный. От непрестанных переходов и трудов, для старца непосильных, одряхлел, да вдобавок которую неделю уже недомогает. Укрепи его, Боже, поддержи его силы, доколе

подвига своего не довершит!

* * *

Января 30. Шмелев к своему полку отбыл, а Хомутов заготовлять квартиры в г. Калиш укатил, куда и армия вскоре тронется. Сагайдачному тоже не до меня: как племянник Разумовского, начальником главного штаба князем Волконским в ординарцы к себе взят и, как ловкий малый, со свитскими офицерами уже за панибрата. Ну, а меня терпят, как его, яко бы, доброго приятеля.

* * *

На бивак, февраля 6. Пятый день в пути, но с ночевками.

Весна уже в полном разгаре: солнце сильно греет, снег в два дня с полей сошел, деревья зазеленели, но дороги анафемские, грязь непролазная. Легкие коляски штабных утрязают по ступицу, а нагруженные доверху обозы армии на целые версты застревают. На возах корзины с курами, гусями и индюшками, связанные бараны и телята, не то у польских панов купленные, не то самовольно забранные... Военная добыча! У пруссаков и в деревнях изобилие и довольство, а у здешних кре-

стьян ни фуража, ни провианта. У своих панов они и раньше-то в вечном загоне были; а после прохода «великой армии» в Россию и обратно в конец обнищали. При приближении наших войск к деревне все с женами и работниками до «лясу» разбегаются. Так, чтобы чем-нибудь хоть прокормить лошадей, армии ничего иного не остается, как старую солому с крыш снимать; а сами люди впроголодь перебиваются.

Из всего населения одни лишь евреи встречают государя перед своими местечками с раболепием и почетом: в праздничных одеяниях ветхозаветного покроя выносят на дорогу свои священные ковчеги и хоругви с вензелями царскими, в барабаны бьют и в кимвалы, трубят в трубы иерихонские. За построй, однако ж, и за продовольствие сдирают с нас хоть и не кожу, то золотых немалую толку.

* * *

Калиш, февраля 13. Дотащились! В кадетском корпусе, единственном здешнем хорошем здании, государь остановился со свитой и штабом. Мы, мелкота, ютимся по плохень-

ким обывательским квартиркам. У польских магнатов в пригородных усадьбах имеются, правда, великолепные «палацы», но ни один из сих поклонников Наполеона носу к нам не кажет, дабы не принимать у себя «москалей». Для прогулок, однако ж, есть здесь городской сад, тенистые бульвары; а за городом раздолье — не нагуляться.

Что до военных действий, то Позен, сборный пункт беглых французов, взят нашими войсками еще 1-го числа. На той неделе барон Винценгероде разбил саксонцев; причем (добавил на словах от себя курьер, известие сие привезший) особенно казаки Давыдова отличились. Сам Винценгероде о сем в донесении умалчивает, ибо нашего славного партизана за неумеренное удальство не терпит. А мне лишь бы, право, в лихой отряд Дениса Васильевича попасть!

В Пруссии граф Витгенштейн со своей Северной армией вытеснил уже гарнизоны французские из Кенигсберга, Мариенбурга, Мариенвердера. Держится еще Данциг, держатся в тылу у нас Торн и Модлин, но блокируются и вскоре тоже, надо думать, сдадутся.

По плану Кутузова Главной нашей армии должно было отсюда идти за р. Одер. Да вот прусский король все еще колеблется, не может решиться открыто войну Наполеону объявить; а посему и мы покуда бездействуем.

* * *

Февраля 16. Оборонительный и наступательный союз с берлинским двором заключен и подписан. По оному мы, русские, не ранее оружие положим, доколе Пруссия не будет опять в том же положении, что и до войны 1806 года. Передовые наши отряды уже за Одером и движутся на Дрезден. На днях в Бреславле должно состояться личное свидание государя с королем Фридрихом-Вильгельмом.

* * *

Февраля 17. С уполномоченным прусского короля, славным генералом Шарнгорстом, ведутся переговоры о том, кому быть главнокомандующим союзных армий: нашей и прусской. Шарнгорст находит, что главным вождем приличествует быть русскому, так как прусское войско служит нашему лишь вспомогательным. Для окончательного же решения сего вопроса запрашивается мнение дру-

гих военачальников прусских.

* * *

Февраля 21. Получены ответы от прусских генералов, в том числе и от главнокомандующего, знаменитого Блюхера, что они за честь сочтут быть в подчинении у светлейшего князя Кутузова.

Шведский король высылает также целый корпус под начальством своего наследного принца Бернадота в помощь пруссакам. Каково-то теперь на душе у Наполеона?

* * *

Февраля 29. 27 числа наша Северная армия вступила в Берлин. Сагайдачный достал в штабе выписку из донесения о том Витгенштейна, и я ее дословно переписываю:

«Дружеский прием жителей был неописанный. Принц Генрих, окруженный генералами, выехал ко мне навстречу за четыре версты от заставы, и все сие пространство было покрыто несчетным множеством всякого звания людей. В самом городе кровли, заборы и окна домов были наполнены зрителями, и в продолжение нашего шествия из ста тысяч уст раздавались

восклицания: „Да здравствует Александр, наш избавитель!“ На всех лицах видны были чувствования живейшей радости. Никакая кисть не в состоянии выразить сего восхитительного зрелища; недоставало только присутствия нашего Августейшего Монарха».

ГЛАВА ПЯТАЯ

Как партизан Давыдов Дрезден брал

* * *

Калиш, марта 2. Вчера Сагайдачный пил со мною «брудершафт» на «ты», а сегодня влетает ко мне вестником богов Меркурием.

— Ну, брудер, собирайся-ка в путь-дорогу!

— Куда? — говорю.

— Да к кому тебя сердце твое всего больше влекло? К Давыдову?

— К нему и к Платову. Но...

— Без всяких «но»! Тебя командируют к Давыдову от главного штаба. Получена жалоба на него от корпусного командира...

— Барона Винценгероде?

— Ну да. Зазнался, дескать, партизан: на

30-м году жизни полковник; славолюбие, как вино, в голову ударило. Никакой субординации признавать не хочет. Предостеречь бы его частной запиской в третьем лице. Но с кем ее послать?.. «А пошлите, — говорю, — с Пруденским; в отряде у Давыдова он уже в прошлом году служил. Хоть и значится он юнкером Мамоновского полка, да где теперь тот полк? А Давыдов его охотно к себе примет». Потолковали они, потолковали; сами рады, кажется, с тобой развязаться. Ступай же, брат, в канцелярию и — гайда!

* * *

Саксония, дер. Бернсдорф, по пути к Дрездену, марта 7. Не даром говорится, что язык до Киева доведет. По-немецки я, разумеется, ни в зуб толкнуть. Но наши передовые отряды уже все пространство от Одера до Эльбы наводнили, и так-то от одного отряда до другого я с моим русским языком до передовых партий к самому Давыдову добрался.

Узнал меня Денис Васильевич с первого взгляда.

— А, Пруденский! Каким тебя ветром принесло? Начал я было объяснять. Он только

краем уха слушал и перебил меня:

— Ну, братец, после как-нибудь доскажешь. С флигель-адъютантом Орловым у нас сейчас торги идут: кому куда, чтобы маршала Даву в Дрездене кольцом заключить. Говори же коротко: ко мне, что ль, опять просишься?

— Пламенное желание мое... — говорю. — Числюсь я юнкером в казачьем полку графа Дмитриева-Мамонова...

— Ну, и у меня будешь тем же юнкером. Ступай же к нашим молодцам, объявись. И они тебя, чай, еще не забыли. Запасный конь у них для тебя найдется...

— Но у меня, — говорю, — к вам, Денис Васильич, из главного штаба еще частная записка.

Насупился.

— Частная? Что значит «частная»?

— А так, яко бы негласный совет по поводу ваших отношений к барону Винценгероде...

— Давай сюда!

Выхватил у меня из рук, стал читать.

— Черт знает, что такое! — воскликнул и — раз, два — записку в клочки.

Я с перепугу бросился подбирать с полу: а он:

— Оставь! Частный совет, так и частный привет. Есть у меня, слава Богу, и свой прямой начальник, генерал Ланской, отстоит он меня; а тут нашлись еще непрошенные советчики штабные... Дался им этот Винценгероде! Дослужился ведь в своем Гессен-Касселе до майора; ну, и сидел бы у себя, в немечине, на насиженном месте. Ан нет, к нам, в русскую армию, напросился. Получил полковника и убрался подобру-здорову: к врагам нашим, австрийцам, перекочевал. Да и там, знать, не ко двору пришелся: снова к нам, в матушку Россию, и ведь с генеральским уже чином. После Аустерлица вторично к австрийцам перебрался. А в прошлом году в третий раз к нам, да еще чином выше — генерал-лейтенантом. От австрийцев одному только и научился: «Иммер лянгсам форан! Иммер лянгсам форан!» — «потихонечку да полегонечку», а то и раком вспять... И такой-то горе-богатырь нашим авангардом командует! Эх-эх! Ну, да мы с Орловым свою линию ведем...

И вправду ведь, час спустя «своя линия» у них обозначилась: Орлов со своей партией идет обходом к Эльбе и, перейдя оную, с того берега к Дрездену подступит, а Давыдов — прямым путем. Ротмистр Чеченский с 150-ю казаками ныне же к самому Дрездену выступает для рекогносцировки, а мы завтра на рассвете.

В Дрезденском форшкарте, марта 8. Вот так денек! Еще на походе ранним утром со стороны Дрездена до нас гул донесся как бы от оружийного залпа, и опять все стихло.

— Знать, что-нибудь да взорвало, — говорит Давыдов. — Но кто взорвал: неприятель или наши?

В ближайшей деревне у немцев узнали, что французы еще накануне госпитали свои и военные запасы с правого берега Эльбы на левый в Старый город перевели, а саперы их под мостом, как кроты, рылись.

— Вот и взорвали мост порохом, разбойники! — вздыхают немцы. — А ведь мост-то какой капитальный был: на каменных сводах!

— Эге-ге! — говорит Денис Васильевич. — Так Новый-то город, что на нашем берегу, они

уже покинули... Аль попытаться?.. Ведь Дрезден — вторая после Берлина столица немецкая. Однако без благословения Панского не обойтись; а он благословит: моя слава — и его слава.

И к генералу Ланскому в Бауцен курьер полетел. С нетерпением с часа на час ожидаем его возвращения. И вот он назад летит. Офицеры, да и я с ними, окружили Давыдова; а он прочитал ответ и говорит:

— Слушайте, господа: «Разрешаю вам попытку на Дрезден. Ступайте с Богом».

— Ура! — в один голос все мы гаркнули.

Тут скачет и казак от ротмистра Чеченского с рапортом, что у ворот Дрездена его перекрестный огонь встретил из палисадов. Как-де быть?

Денис Васильевич в ответ:

«Держись крепко. Спешу к тебе со всей партией».

На полпути к Дрездену новый рапорт: бургомистр просит пощадить город. Чеченский же потребовал, чтобы всех французов на ту сторону Эльбы спровадили, иначе никому и

ничему в городе пощады не будет. Тогда бургомистр попросил дать ему хоть два часа сроку.

— Какого страху-то казаки наши на них нагнали! — говорит Давыдов. — А ведь всего-навсего их у Чеченского полторы сотни... Правда, есть у него и урон: четверо ранено, а хорунжий Ромоданов насмерть... Вечная ему память! И нам ее тоже, быть может, скоро споют. Ну, да теперь, не загадывая, на рысях вперед!

В верстах трех-четырех от Дрездена третий рапорт: комендант одумался, одним казакам сдать город никак не может. Иное дело, кабы при них была еще пехота...

— Черта с два! Да где ее взять-то? — говорит Давыдов. — Надо огорошить их нашим несметным будто бы полчищем. У страха глаза велики. Займем биваками форштадты, а на высотах в разных местах костры разведем.

И вот мы в форштадтах, а на горах кругом бивачные огни горят-пылают.

* * *

Марта 9. Среди ночи гром из ясного неба! От Ланского новый приказ:

«Любезный мой полковник! Невзирая на позволение, мною вам данное, я принужденным нахожусь изменить ваше направление вследствие повеления, сейчас полученного от корпусного командира...»

Разбудил всех Денис Васильевич сам не свой:

— Отбой, господа! Партизану завладеть вражеской столицей не по чину; честь эта должна принадлежать корпусному командиру барону Винценгероде. Нам велят отойти к Мейсену...

— Помилуйте, Денис Васильевич! — взмолился ротмистр Чеченский. — Из-за чего добрый товарищ мой, Ромоданов, жизнью поплатился, четверо нижних чинов из строя у меня выбыло?.. Нас было всего полтора человека, а у вас ведь целых пять сотен. Неужели нам, в самом деле, теперь убраться вон, когда город нам уже сдаться готов?

— И думать нечего, — говорит Денис Васильевич. — Раз город будет в наших руках, то никакой Винценгероде лавров у нас уже не отнимет. Медведю только бы железное коль-

цо сквозь ноздрю продеть, а там мы его уже под нашу дудку плясать заставим. Утром вы, Лёвенштерн, отправитесь в Дрезден парламентаром, скажете, что я сам прибыл с конницей и пехотой, и что если немедленно не сдадут нам город, мы будем его штурмовать.

Штабс-капитан Лёвенштерн, из русских немцев, — тот самый, которого еще накануне Чеченский посылал к бургомистру для переговоров.

И вот, собравшись по утру в город, Лёвенштерн вернулся с ответом, что французский генерал Дюрют просит в Старый город к нему уполномоченного штаб-офицера прислать. Выбрал Денис Васильевич для сего подполковника Храповицкого; для пущей важности еще свои собственные премногие регалии ему навесил.

При переправе на лодке через Эльбу в Старый город Храповицкому платком глаза завязали, потом за руку на квартиру Дюрюта повели. Переговоры, однако, затянулись. Храповицкий не соглашался на некоторые пункты Дюрюта, а тот на некоторые Храповицкого. Два раза уполномоченный наш возвращался

к Давыдову за инструкциями. Так Дюрют с негодованием отказывался внести в письменный договор требование Давыдова, чтобы французские солдаты русским честь отдавали. Сошлись, наконец, на том, что предложено это будет французам на словах.

Только теперь, к вечеру, все кончилось благоус-пешно: договор Дюрютом и Давыдовым подписан.

— Наша взяла! — говорит Денис Васильевич и руки потирает. — Завтра же занимаем половину Дрездена. Дело сделано чисто, комар носу не подточит. «Что будет, то будет, а будет то, что Бог даст», говорил еще гетман Богдан Хмельницкий.

* * *

Дрезден, Новый город, марта 10. Сегодняшний день для дорогого нашего Дениса Васильевича, можно сказать, зенит жизни, равного коему у него не было, да едва ль когда и будет.

Еще ни свет, ни заря, а вся наша партия была уже на ногах, чтобы убрать коней и самим почиститься, принарядиться для личного въезда в город. И у Дениса Василье-

вича на сей раз его черная, как смоль, курчавая, окладистая борода, оказии ради, была тщательно расчесана; сам он щеголял в новом черном чекмене, в красных шароварах и в таковой же шапке набекрень, на боку — черкесская шашка, на шее — Владимирский крест, Анна с алмазами и прусский орден «пур ле мерит», а в петлице — Егорий Храбрый. В таком-то образе он принял перед городской стеной, в 10 часов утра, явившуюся к нему на поклон депутацию от чиновников и граждан. Когда же этот бородач-казак в ответ на их приветствие заговорил с ними на чистейшем французском языке, они рты разинули, уши развесили. Да и было с чего: вместо ожидаемых угроз, он, дикий казак, объяснил им, просвещенным немцам, что отныне, благодаря великодушию монарха российского, для Германии заря светлого будущего занимается, и что они, саксонцы, могут почитать себя особенно счастливыми, так как первые из немцев избавляются от позорного ига французов.

Расшаркались депутаты и откланялись.
— На коней!

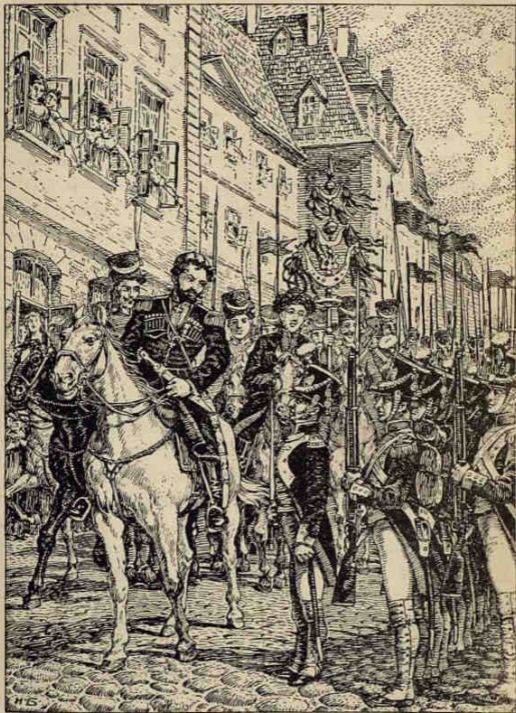
И, окруженный офицерской свитой, он въезжает беспрепятственно в укрепленную столицу Саксонии, на аргамаке своем избоченясь, подлинным триумфатором по сторонам поглядывает. А следом конвой — Ахтырские гусары, за гусарами — песельники 1-го Бугского казачьего полка, за песельниками — самый полк, далее — Донской Попова 13-го полка, наконец, Донской же Мелентьева полк, накануне присланный к нам на подмогу генералом Орловым.

В воротах стоит под ружьем французский гарнизон, бьет в барабан и делает на караул. Лихой командир наш в ответ приподнимает шапку. Подполковник Храповицкий наклоняется к нему и говорит что-то. Денис Васильевич кивает головой, задерживает коня и знаком подзывает к себе гарнизонного капитана. Тот подходит и отдает честь.

— Если не ошибаюсь, г-н капитан, — говорит Давыдов, — вы адъютант генерала Дюрюта и были его уполномоченным?

— Точно так: первый его адъютант, капитан Франк.

— Весьма приятно. Не откажите же отзав-



Денись Давыдовъ въѣзжаетъ въ Дрезденъ.

тракать со мною. Эй, песельники!

И песельники залихватски заливаются:

— «Растоскуйся, моя сударушка!»

С голубых небес солнце самые яркие лучи свои ниспосылает, а по обеим сторонам улицы народ толпится и единодушно нас приветствует:

— Ура, Александр! Ура, Россия!

И шапки вверх, а из окон дамы платками машут. Хотя я и последняя спица в триумфальной колеснице Давыдова, но и у меня от гордости грудь ширится, вздымается.

И вспомнился мне таковой же въезд в родной мой Смоленск Наполеоновых дружин. Вступали они тоже победителями с барабанным боем и трубами; но народ уныло сторонился, про себя их проклиная. Здесь же всеобщий восторг не побежденных, а освобожденных. Кабы видеть меня в этом победоносном шествии могла моя Ириша!

Расположились мы биваком по главной улице; сам же Денис Васильевич на отведенной ему квартире принимает именитых граждан. Попытка его блестяще удалась, и лавров у него никакой Винценгероде вырвать

уже не может!

* * *

Марта 11. С Дюрютом заключено перемирие на 48 часов с предварением, что с часу на час ожидается прибытие сорока тысяч, дабы он без выстрела очистил и Старый город; Ланскому же донесение послано о занятии Нового города с просьбою — до истечения перемирия артиллерию и пехоту прислать.

* * *

Марта 12. В бочку меда ложка дегтю: от Ланского поздравление Давыдову, но с упреком за самовольное перемирие с неприятелем. «Заключить таковое, мол, не имел бы право ни я, ни сам барон Винценгероде, коему посланы мною ваш рапорт и копия с капитуляции».

Такова шаткость человеческих умозаключений!

* * *

Марта 13. Увы! Увы! Все прахом пошло.

Винценгероде, получив в Бауцене рапорт нашего славного партизана, взбеленился, взял в тот же час почтовых лошадей, мчался день и ночь, и нынче вот под утро пожаловал

к нам в Дрезден собственной персоной. Денис Васильевич оказался бедным Макаром: все шишки на него повалились.

— Да как вы, сударь, посмели вообще подойти к Дрездену, когда вам приказано было идти на Мейсен? Как вы посмели входить от себя в переговоры с неприятелем, когда сие законом строжайше воспрещено? Как вы посмели заключить с ним перемирие, когда сам Блюхер делать того не вправе? Сие последнее есть государственное преступление, примерного наказания достойное. Сдайте вашу команду подполковнику Прен-делю, а сами извольте отправиться в главную квартиру. Там, может статься, буд^т к вам снисходительнее; у меня в военном деле нет снисхождения. Прощайте!

Руки даже не подал и повернулся спиной. Вышел от него Денис Васильевич, как ошпаренный, с поникшей головой.

— Ну, господа, — говорит нам, — прощаюсь с вами. Моя карьера кончена...

— Как? Что?

— Да так и так... Барон Винценгероде по своему, да и по военным правилам, совер-

шенно прав. По свойственной молодости уда-
ли и отваге я не в меру занесся, ну, и несу те-
перь заслуженную кару. Накрошил, так вы-
хлебывай. Но всего горше мне все же расста-
ванье с вами. Ведь от самого Бородина до
вступления сюда, в Дрезден, я делил с вами
голод и холод, радости и горе, труды и опасно-
сти. Черствый хлеб на биваке, запах жженого
пороха и кровавая купель сближает людей
между собой. И вот меня насильно разлучают
с вами! Но расстаюсь я не с подчиненными, а
с сыновьями и друзьями: в каждом гусаре я
оставляю сына, в каждом казаке друга. Всю
жизнь свою я не перестану вспоминать чудес-
ные события, освятившие наше братство. Не
поминайте же и вы меня лихом...

И он, удалый отчаянный партизан, запла-
кал! У всех у нас, разумеется, также слезы
взор застлали. Пошли объятия, поцелуи, вся-
кие пожелания и обещания. Когда же он за-
тем пошел прощаться со своими нижними
чинами, всех их равномерно слеза прошибла.

...Только что занес я в дневник вышеопи-
санное, сижу в раздумье: как-то еще без Дени-
са Васильевича моя собственная судьба по-

вернется? — как вдруг за мной его денщик.

— Ваше благородие! Полковник мой прислал за вами.

Обо мне, мелкой сошке, напоследок еще вспомнил!

— Что прикажете, Денис Васильич?

— А вот что, голубчик. Что на счет меня порешат в императорской квартире — одному Богу известно. Сюда-то я вряд ли вернусь. Так вот, скажи-ка мне: сжился ли ты уже в партии настолько, чтобы остаться, — тебя, как волонтера, насильно задержать не могут, — или же охотней со мной поедешь?

— С вами, Денис Васильич! Куда вы, туда и я.

— Так я и думал. В дороге мне компаньонном будешь, да и прокатишься даром.

— А как, Денис Васильич, — говорю, — быть с этой моей казачьей амуницией? Одолжил мне ее Никитин, когда был тяжело ранен...

— Да ведь вчера он, бедняга, помер?

— Помер, и завтра его хоронят.

— Упокой Господь его душу в селениях праведных! В новом чекмене какой ему уж

прок? А тебе он на сем свете еще весьма пригодится.

Тут опять денщик:

— Ваше высочорodie! Немцы вас спрашивают. Была то депутация от магистрата. Поднесла ему благодарственный лист за дисциплину в его партии, не токмо не грабившей жителей, а поддерживавшей в городе примерный порядок.

Почтовая коляска была уже подана, когда от генерала Орлова нарочный прискакал с вестью о благополучной переправе его на левый берег Эльбы.

— Колесо Фортуны! — Денис Васильевич воскликнул. — Еще бы несколько часов — и Старый Дрезден был бы тоже наш. А теперь кому-то достанется лакомая эта добыча?!

Отер глаза и вскочил в коляску.

— Едем, Пруденский. Пошел! Форвертс!

Пишу сии строки на ночлеге в неведомой деревушке по пути в главную квартиру. С непоколебимостью уповаю на правосудие и сердечную доброту государя императора, который неудержное молодечество в тяжкую виду бравому партизану не поставит.

Калиш марта 20. Благодарение и хвала Создателю во Святой Троице! Мой Денис Васильевич помилован, а с ним и меня не забыли.

Первым делом толкнулся он здесь, разумеется, к главному вершителю штабных дел, князю Волконскому. Выслушал тот и говорит:

— Будьте благонадежны, полковник: вы повели себя героем; сам Винценгероде того не отрицает. А геройство и фельдмаршал, и государь высоко ценят.

Доложил он обо всем Кутузову, а тот государю.

— Победителей не судят, — сказал государь. Затем светлейший вызвал к себе нашего героя и обласкал.

— Мы вас, — говорит, — не выдадим; все устроится к лучшему. Дайте нам только время. Попали вы к нам в самую неудобную минуту: прибыли из Питера дорогие гости: две княжны Волконские, да моя племянница; и князю Петру Михайловичу, и мне, старику, голову вскружили. А завтра, в добавок, пожалует еще из Бреславля король Фридрих-Вильгельм с ответным визитом. Надо показать

ему нашу гвардию во всей красе. Уж потерпите, родной.

Обо мне, однако, Денис Васильевич Волконскому тоже словечко закинуть успел: малый-де разбитной и надежный; знает и по-французски.

— А по-немецки?

— По-немецки одно слово: «Форвертс!» Засмеялся:

— Это главное: вперед все, вперед! Определенных занятий для вашего протеже покуда у нас не найдется; но для спешных поручений такие «медхен фюр аллее» всегда полезны.

— Так вы, князь, его причислите к штабу?

— Причислим. Сейчас велю внести в приказ. Итак у меня в главной квартире уже почва под ногами...

* * *

Марта 21. Ну вот! Русскому партизану не дали взять Дрезден, а подоспел Блюхер и взял! Нынче, с прибытием сюда короля Фридриха-Вильгельма, в прославление сего подвига прусских войск торжественное молебствие с пушечными выстрелами. Денис Васильевич мой совсем нос повесил.

Кого жаль еще — это Кутузова. К параду гвардия наша, заново обмундированная, явила себя в полном блеске. А он, фельдмаршал, от дряхлости не имел даже сил на коня сесть и высокого гостя приветствовал перед фронтом стоя...

* * *

Марта 24. Три дня пробыл здесь король прусский. Как водится, рауты, балы, банкеты. Все кругом веселится, радостью сияет, точно войны и не бывало. Названный брат мой, Сеня Сагайдачный как сыр в масле катается, то там, то тут приткнется. У меня же, как в сказке, все по усам течет, ничего в рот не попадает; а бедный Денис Васильевич как потерянный по улицам бродит. Когда-то опять об нем вспомнят?

* * *

Марта 25. Вспомнили! Сам светлейший его опять к себе вызвал.

— Поезжайте, — говорит, — с Богом назад к Винценгероде: ему посылается предписание вернуть вам прежнюю вашу партию.

— Ну, Пруденский, — говорит мне Денис Васильевич, — придется нам с тобой разлу-

читаться.

— Так меня, — говорю, — вы не хотите уже взять с собой?

— Видишь ли, голубчик, — говорит, — тебя тут причислили, ну и укореняйся. Я, что журавль, птица перелетная.

— Но партию вашу вам ведь возвращают? Вздохнул и головой покачал.

— Обещают, да. Но жалует царь, да не жалует псарь. Винценгероде может повернуть дело так, что я останусь ни при чем. У тебя же, милый, есть уже синица в руке, так дай журавлю в небо лететь, куда его понесет.

И вот он без меня улетает. Жалко, невыразимо жалко! Ужели так никогда больше уж и не свидимся?

ГЛАВА ШЕСТАЯ

*Перед грозой. — Кончина Кутузова. —
Битва при Люцене. — Из огня да в во-
ду. — Сагайдачный отличается. —
Призовой конь*

* * *

Прусская Силезия, г. Милич, марта 28. Поднялись мы из Калиша еще третьего дня, 26-го, в поход не в поход, а как бы на увеселительную прогулку. Погода восхитительная; солнышко печет почти по-летнему; благораспорядок воздуха.

Сагайдачный гарцует на своем новом аргамаке, которого в ландскнехт у другого ординарца выиграл; а мне свою старую «Розинанту» за 50 рублей сосватал.

— Самому, — говорит, — в 200 обошлась. Скажи: спасибо.

Ну, что ж, спасибо. Все же верхом следую, не пехтурой плетусь.

Сегодня вступили опять в пределы королевства Прусского. На границе столб, высится с русской надписью: «Граница Силезии», —

из особого все внимания к своему избавителю, русскому царю.

От самой границы до первого их города, Милича, в ожидании государя толпа несметная. Духовенство навстречу с крестами; молодые девушки, все в белом, путь царский живыми цветами усыпают; мужская молодежь пальбой из ружей и «виватами» воздух потрясает.

Бывший посланник прусский при нашем Дворе, граф Мальцан, за честь почел принять государя в своем замке. В сумерках весь парк при оном цветными фонариками засветился, а в небесах своим порядком вызвездило:

*Открылась бездна звезд полна:
Звездам числа нет, бездне — дна.*

Под древесными кущами музыка гремит, и гуляющих великое множество. Так бы всю ночь до утра не ложился!

Вдруг со стороны замка стоустые клики несутся:

— Виват дер гроссе альте! Виват гроссфатер Кутузов! (Сиречь: да здравствует великий старец! Да здравствует дедушка Кутузов!).

Бегу туда: с балкона светлейший раскланивается, а внизу народ — голова к голове — его, главнокомандующего обеими армиями: нашою и прусскою, восторженным ревом оглушает.

* * *

Штейнау на Одере, апреля 3. Что ни город, то торжественные встречи. Здесь на мосту, гирляндами увитом, государя сам король прусский ожидал, а депутация от горожан лавровый венок поднесла. Государь, приняв оный, к Кутузову тотчас же отослал: вот кому-де принадлежат все лавры.

Немцы немцами, а натура здешняя мне, признаться, куда больше еще их самих полюбила. Ведь подумать только: у нас, на родине, метели и морозы, а здесь горы и доли зеленью уже разубраны, зефиры от фиалок ароматы струят, жаворонки в поднебесье Творца славят. Вдали одни лишь вершины гор Силезских снегом еще белеют и в лучах солнца блещут, живописное зрелище тем завершая.

* * *

Апреля 4. От сестры государевой, великой княгини Марии Павловны, курьер с радост-

ною вестью прислан, что Лейпциг русскими уже занят.

Вся Пруссия скоропоспешно вооружается. Чиновники и ученые, помещики и крестьяне, холостые и женатые — все записываются в «фрейвиллиге» — «вольные ратники». Офицеров себе из своей же среды выбирают. У кого есть свой верховой конь, тот в конницу записывается и от своего города или деревни получает копьё, саблю и пистолет; пехотинцы же вооружены: передний ряд — копьями, а задние — ружьями. На киверах у всех одна надпись: «Фюр Готт, Кёниг унд Фатерлянд» — «За Бога, Короля и Отечество». В церквях население к приношениям призывается деньгами и вещами; а в домах жены и сестры мужьям и братьям рубахи шьют, бинты режут, корпию щиплют. Небывалый общий подъем народный против ненавистного ига иноплеменных.

А Наполеонова армия, набранная вновь во Франции с бору да с сосенки, по слухам, перешла Рейн и стоит уже близехонько — у Эрфурта. Где-то столкнемся?.. Да воскреснет Бог и расточатся врази Его!

Бунцлау, апреля 6. Вербное воскресенье. Государь остановился в соседнем городке Лаубане, откуда приезжает сюда в походную церковь и ко всенощной, и к обедне. Немчура, любопытствуя, тоже заглядывает и диву дается: зеленые вербы и зажженные восковые свечи в руках у всех молящихся, благолепие православного богослужения и захватывающее душу, стройное пение придворных певчих их поражают. Сам я своими углами восклицания слышал:

— Херрготт, ист дас абер шен! (т. е.: Господи Боже мой, что за красота!)

Светлейший старец наш вчера отстоял еще всенощную, перемогался, но на сквозняке его, знать, прохватило: нынче к обедне его уже не было. Да и хорошо сделал, — погода резко переменилась: мокрый снег в окна хлещет, ветер в трубе воет-завывает... Тоска!

Сагайдачному, однако, все нипочем: дуется со свитскими приятелями немецкими картами и в коммерческие игры, и в азартные; причем за неимением ломберного стола и мелков, записи свои карандашом делают на

бумаге.

* * *

Саксония. Лаубан, апреля 8. Вчера выступили из Бунцлау и здесь, в Лаубане, переночевали. Фельдмаршал же так и остался в Бунцлау. Оба лейб-медика: царский — Вилье и короля прусского — Гуфеланд, решительно объявили, что ему надо отлежаться от простуды; иначе они ни за что не отвечают. И так-то мы идем навстречу Наполеону без нашего полководца, в коего обе армии — и наша, и прусская — слепо верят! Что-то будет?

Одно утешение, что крепость Торн сдалась и войска Барклая-де-Толли могут наконец тронуться оттуда на усиление Главной армии.

А аккуратный народ эти немцы: встретили государя, как и в других местах, музыкой и «виватами», а теперь вот, перед его отбытием, графу Толстому счет подают: столько-то талеров за цветы на лестнице, столько-то за простыни придворным лакеям... Радость радостью, а денежки тоже счет любят!

* * *

Дрезден, апреля 12. Великая суббота. После

обедни в походной церкви совершился торжественный въезд в столицу Саксонии. Двинувшаяся вперед союзная гвардия выстроилась по улицам от городских ворот Нового Дрездена через Эльбу (взорванный французами с правого берега мост уже починен) до так называемого Брюлевского дворца в Старом Дрездене, назначенного для пребывания царя. Когда тут показались оба монарха со своей блестящей свитой при пушечных салютах, колокольном звоне и трубной музыке, а молодые девушки путь их цветами устилали, неоглядной толпой дрезденцев овладел стихийный восторг, и ликованиям ее конца не было.

После парада русских войск с церемониальным маршем на большой площади «Неймаркт», государь удалился в Брюлевский дворец, но и здесь нескончаемые «ура» и «виваты» заставляли его несколько раз появляться на балконе. Собственного своего короля саксонского у дрезденцев и в помине нет: он уже с месяц назад убрался подобру-поздорову к австрийцам в Прагу, так как, подобно императору их Францу, не имеет еще духу порвать

с Наполеоном.

* * *

Апреля 15. Ни на пасхальной заутрене, где государь христосовался со свитскими, ни в итальянской опере «Весталка», данной для высоких гостей, ни на придворных обедах и балах мне, причисленному сбоку припеку, места не было. Зато я сошелся за кружкой пива с одним молодым прусским вольным ратником, сыном магдебургского фабриканта, Фридрихом Людке. Наслышавшись о красотах Саксонской Швейцарии, он предложил мне обойти вдвоем ее по способу пешего хождения. Сказал я об этом и Сагайдачному. А он:

— Вот охота пуще неволи! Взбираться на горы и утесы...

— Да ведь для глаза эти горные виды удовольствие одно!

— Для глаза! Глаз — малая частица всего нашего тела, и ради его удовольствия причинять неудобство всем остальным частям тела, — благодарю покорно!

Так и не пошел ведь с нами. А мы в два дня все лучшие места Саксонской Швейцарии исходили, делая в день по 6 миль или, по-наше-

му, до сорока верст. Такая прогулка среди скалистых гор и цветущих долин для души и тела куда полезительней всяких балов и банкетов. А сегодня, вернувшись в Дрезден, и в здешней картинной галерее побывали; с полчаса простояли перед Сикстинской Мадонной кисти Рафаэля: лик Пречистой Девы поистине божественный, а у Младенца-Спасителя взгляд загадочно-скорбный, как бы в предчаяньи страстей грядущих... Проходя затем мимо книжной лавки, увидел в окне преотменную гравюру с этой дивной картины; вошел и купил. Не знаю еще только, кому поднести: матушке ли, Ирише ли... Ах, Ириша, Ириша! Стараюсь об ней не думать, чтобы не стосковаться, а нет-нет, да и вспомнишь, и занает ретивое... Самой ей писать не смею, а маменьке надо бы опять весточку о себе дать; от нее же и Ириша обо мне услышит.

* * *

Рахлиц, апреля 20. Старца-фельдмаршала не стало! Как узнал я о том от курьера, проезжавшего из Бунцлау в главную квартиру под Лейпцигом, так разрыдался. Да и Хомутов сдержать слез не мог. Застряли мы с ним

здесь, в Рахлице, из-за квартирной комиссии, от которой возврата всех израсходованных денег никак не добьемся. А со стороны Лейпцига уже неумолчная канонада: под Люцерном идет жаркое дело с французами, коими на сей раз командует сам Наполеон. Наших же ведет в бой не преемник Суворова, Кутузов, а Витгенштейн, которому до него, как до звезды небесной... Где уж ему с Наполеоном тягаться! А узнают в армии, что старый фельдмаршал наш долго жить приказал, так еще больше духом упадут...

* * *

Дрезден, апреля 22. По сказанному, как по писанному: всей армией ретируемся и с большим уроном: 20 тысяч выбыло из строя! Но винить Витгенштейна в нашем поражении тоже не приходится: руки у него были связаны. За битвою с холма наблюдали оба монарха и, не доверяя Витгенштейну, сами приказания отдавали через флигель-адъютантов, а те от себя еще мудрили. Не считались с новым главнокомандующим ни Волконский, ни Блюхер, ни корпусные командиры. Каждый приказывал по-своему, часто в разрез с чужи-

ми приказаниями, и заварилась такая каша, что от диспозиции Витгенштейна, наперед уже определенной по всем правилам военной науки, ничего, говорят, не осталось; расхлебывать же кашу пришлось войску!

Были, впрочем, еще и другие причины: войска в деле у нас было вдвое меньше, чем у Наполеона. Затем Блюхер со своей армией на целых пять часов опоздал, но опоздал не по своей вине: пакет с предписанием главнокомандующего был доставлен к нему в полночь, когда он уже спал. Дежурный чиновник, донельзя тоже утомленный, спросонок расписался в разносной книге, но пакет под подушку засунул, да и повернулся на другой бок. Поутру он нашел пакет у себя под подушкой и пошел к Блюхеру с повинной. Но время к началу боя было уже упущено. Рассчитывали отплатить французам хоть на другой день; но не тут-то было: у нашей артиллерии не хватило зарядов. И так-то пришлось возвращаться вспять, в Дрезден. Ужасно обидно и стыдно! Давно ли нам здесь «виваты» кричали, цветами путь усыпали? А теперь, когда отступающие войска, усталые, понурые, через

город без конца тянутся, — прохожие ни звука, головой только качают, плечами пожимают. Позор!

Кому я, пожалуй, мог бы позавидовать, так это Сагайдачному: был ведь в огне, аргамака под ним убили, и сам он ранен: рука в повязке. Рану свою он мне нарочно не показывает:

— Разрывная, — говорит, — от осколка гранаты; смотреть неприятно.

Хозяйка за ним, как за героем, ухаживает, за обедом лучшие куски ему на тарелку накладывает:

— Кушайте на здоровье, поправляйтесь! Ведь во время сражения вас, я чай, и не кормили?

— Вас, мадам, не было, так кто же нас и кормить бы стал?

— А ночевали вы потом где же?

— Под открытым небом. Так как лошадь подо мной пала, а другой мне еще не дали, то пешком уж дотащился до города Пегау. Толкнулся в трактир. Но там все одни тяжелораненные: и на полу-то, и на бильярде, и под бильярдом... Стоны кругом душу раздирают. Вышел я на задворки, воз сена свален. Зарылся в

сено, да и проспал до зари как убитый.

— Ах, вы, мой бедный, бедный! Но крестик вам все-таки дадут?

— Обещали.

— То-то же. Кушайте, кушайте!

А мне, не герою, хоть бы слово сочувствия, точно меня и на свете-то нет. Ну, да дня через два убираемся и отсюда, чтобы очистить место Наполеону. Эх-ма!

* * *

Апреля 23. Ай, Сеня, Сеня! Ведь рана-то у него не от гранаты. Узнал я об этом совсем случайно от казака-ординарца.

— А что, — говорит, — ваше благородие, не зажил еще ушиб у вашего приятеля Семена Григорьича?

— Ушиб? Какой ушиб?

— Да руки.

— Так он, значит, не ранен, а только ушибся?

— Эх! Ложь на тараканьих ножках: того гляди, подломятся. Просили ведь меня не болтать...

— Ну, да раз проговорился, так досказывай. От меня что скрывать?

— И то правда: свои люди.

— Так как же было дело?

— А так, вишь, что послали меня с запиской на одну батарею. Отдал и назад скачу; а и Семен Григорьич откуда-то мчатся, а вдогонку два француза. Я — наперерез. Одного мусью копьём из седла вышиб; так замертво и лежать остался. Другой тем часом из пистолета в их благородие бац и — наутек. В самих промахнулся, но коню пулю в голову всадил. Грохнулись оба...

— И тут-то Семен Григорьич руку себе и повредил?

— То-то что нет: вскочили на ноги, как встрепанные. Но конь моего французика стоит еще над своим господином, словно ожидает, не встанет ли. Схватили тут Семен Григорьич коня за уздцы, а он на дыбы; ну, и копытом им рукав разодрал, руку раскровянил. Да это бы еще с полбеды. Беда в том, что самого-то коня упустили: ускакал! Взял я их благородие к себе на седло, а они мне:

«Слышишь, мол, меня гранатой ранило». Ну, а мне что? Гранатой, так гранатой. Только вы-то, ваше благородие, сделайте такую ми-

лость, меня не выдайте.

Понятно, что никому не скажу. Лишь бы только Сене за его ушиб, в самом деле, ордена не пожаловали. Слишком зазорно бы уж было.

* * *

Бишофсверде, апреля 25. Уходили мы из Дрездена, как в реляциях говорится, «в полном порядке». Однако напоследок один офицер (фамилии не знаю) переусердствовал, и чуть-чуть ведь не вышло катастрофы.

Дело в том, что, кроме постоянного моста между Старым и Новым Дрезденом, вниз по течению Эльбы ваши саперы для отступающей армии временный плашкоутный мост соорудили. По переходе всех войск сжечь его должен был генерал Эмануэль, прикрывавший отступление. И вот, когда уже собственный батальон этого генерала (Шлиссельбургского полка) на мост вошел, злосчастный тот офицер подбегает:

— Ваше превосходительство! Не пора ли уж подрубить канаты?

— Рано, — говорит генерал. — Дайте сперва перейти нашим солдатам.

— Поспеют, ваше превосходительство, пока подрубим, пока огонь подложим...

Не выждав даже согласия начальника, бежит вон, приказания отдает. Одни канаты подрубают, другие солому поджигают и паклю, разложенные вдоль всего моста. Не перешло на правый берег еще и половины батальона, как весь мост пламенем охватило, а плашкоуты, не сдерживаемые уже канатами, по течению понесло. Обреченные на сожжение воздух воплями огласили. Тут один солдатик с моста в реку прыгнуть догадался: лучше уж потонуть, чем живьем сгореть. И что же? Эльба в том месте столь мелководна оказалась, что вода ему лишь до плеч доходила. Как увидели то его товарищи, все стремглав тоже в воду попрыгали и благополучно на сушу выбрались с ружьями и ранцами. После печи огненной только выкупались, чтобы остыть. Но того страшного момента никто из них, полагаю, вовек не забудет!

* * *

Бауцен, апреля 27. Неприятель за нами по пятам. Вчера также Эльбу перешел; но арьергард наш пушками напор его задерживает.

Канонада целый день к нам доносится. Через Сагайдачного просил я князя Волконского дать мне тоже «пороху понюхать». Обещал.

* * *

Апреля 30. Подошло еще знатное подкрепление — весь корпус Баркляя-де-Толли от крепости Торна. Теперь нас здесь сила могучая — 100 тысяч: русских 70 тысяч и пруссаков 30 тысяч, да свыше 600 орудий.

Император австрийский желал бы помирить нашего государя со своим зятем Наполеоном. Переговоры о сем ведет хитроумный министр его Меттерних. А ныне к государю в замок Вуршен, где находится союзная главная квартира, от Наполеона парламентаром генерал-адъютант его Коленкур прибыл. Но государь его даже не принял:

* * *

Мая 5.

— С самим Наполеоном у меня никакого сепаратного соглашения быть не может. Пускай обращается к нашему посреднику — императору Францу.

Такого афронта гордый корсиканец вряд ли потерпит, и генеральное сражение неминуемо.



Изъ огня да въ воду.

нуемо. Позиция наша для обороны весьма выгодная: Бауцен лежит на крутом берегу реки Шпре и вдобавок крепостною стеною окружен с башнями, а в башнях — бойницы. На всяк случай городские ворота теперь еще бревнами заваливают, а меж бревнами тоже бойницы будут для стрелков. Милости просим!

* * *

Мая 8. Французы сюда, к Бауцену, вчера вплотную подошли, и у нашего авангарда с ними под вечер жаркое дело завязалось. Нынче зовут меня к генералу Чаликову:

— Вы, Пруденский, у князя Волконского под пули просились?

— Точно так.

— Поручик Муравьев с тремя уланами отправляется сейчас в горы на разведку и берет вас с собой.

И вот мы в горах. Хороши эти саксонские горы, что говорить, но нам с Муравьевым уж не до любования природой: издали неумолчный гул орудий доносится: «Бум! Бум! Бум!» С вершин да из-за леса высматриваем, нет ли где неприятеля или засады.

— Вернее бы всего, — говорит Муравьев, — одного хоть пленного захватить: от него бы все выпытали.

И ведь чего хочешь — того просишь: выезжаем из чаши к одинокому жилью, — мы с Муравьевым впереди, уланы за нами, — у ворот конь оседланный привязан.

— Смотрите, Николай Николаич, — говорю, — ведь седло-то на коне военное, французское.

— Верно, — говорит. — Вы берите коня, а я с седоком справлюсь.

Поскакали мы оба: я к коню, а он во двор. Там всадник французик, беды не чуя, на пороге сидит, ружье свое к стене прислонил, а сам трубочку покуривает. Налетел на него Муравьев, саблей плашмя его по спине огорошил:

— Сдавайтесь!

Тот с перепугу и сопротивляться не стал. И двинулись мы в обратный путь: я — с конем пленника в поводу, а самого пленника уланы пиками вперед погоняют. Муравьев его генералу Чаликову представил. Похвалил его генерал.

— О вас, — говорит, — будет доложено его

величеству. А коня кто захватил?

— Да вот юнкер Пруденский.

— Так пускай и будет его призом.

Так-то вот, и пороху не понюхавши, призом получают! Сагайдачному новый конь мой зело приглянулся: куда казистее данного ему казенного.

— Давай, — говорит, — поменяемся на моего Буцефала?

— Розинанту свою, — говорю, — изволь, бери опять назад, а призового коня, прости уж, не отдам!



ГЛАВА СЕДЬМАЯ

*Битва при Бауцене. — Сабля пленного. — Отступление и перемирие. —
Лейтенант in spe[1]*

* * *

Лаубан, мая 10. Нет, Наполеона, заклятого врага рода человеческого, простым смертным, видно, не одолеть! А все ведь блестящую победу нам предвещало... И мне тоже счастье опять улыбнулось было...

Началось с вечера позавчера, 8-го числа; а вчера, в Николин день, государь выехал к войскам с графом Витгенштейном еще в 4 часа утра.

— Ребята! Вот ваш главнокомандующий. Поздравьте же его хорошенько с победой.

И громогласное «ура!» по всем линиям прокатилось, и пушки наши, как по сигналу, загрохотали, а им в ответ и неприятельские. Мимо государя проходили полки за полками — одни с музыкой, другие с песельниками, а государь их подбадривал на славную смерть своим царским словом:

— Молодцы! Смотрите, поработайте, когда очередь дойдет. Вперед вам спасибо!

Бой с часу на час разгорался и растянулся на несколько верст по окружающим Бауцен селениям и полям. Сам Бауцен оставался центральным пунктом, где пруссаки ожесточенно бились с прорывавшимися вперед французами.

Было два часа дня, когда государь, наскоро позавтракав, стоял опять со своим штабом на пригорке. Адъютанты и ординарцы летали взад и вперед с донесениями и приказаниями. Прискакал и Муравьев с донесением, весь в поту и дымной копоти. Государь выслушал его со своей ласковой улыбкой.

— Что, устал? Отдохни же теперь, подкрепись.

А под косогором, в ложбинке, небольшая кучка молодых штабных уж «подкреплялась». Я, как причисленный, держался в сторонке. Проходя к товарищам, Муравьев меня заметил.

— А вы что же, Пруденский? Уже закусили?

— Нет, — говорю, — с утра маковой росин-

ки во рту не было...

— Так идемте же: самый адмиральский час.

И, подойдя со мной к закусывающим, говорит:

— Не найдется ли у вас, господа, маковой росинки для меня, да и для сего юноши?

— Как не найтись.

Налили нам по чарке; с непривычки у меня даже в голове зашумело.

— Однако, опалили же вас: чернее трубочиста! — говорили Муравьеву со смехом. — Ну, рассказывайте: где побывали? что видели?

— Да вот, — говорит, — какой случай. На обратном пути сюда вижу: взвод солдат вразброд отступает, офицера уже нет, а один солдатик с ружьем за камнем прикорнул. Я его по спине нагайкой:

— Ты чего прячешься? Вскочил на ноги.

— Виноват, ваше благородие...

— Давай сюда ружье!

Не дал, бросился вперед:

— В штыки, братцы! Ура!

И увлек ведь других: все повернули назад

на французов с криком «ура!» и пошли в штывы. Пример храбрости, как и трусости, одинаково заразителен.

Только досказал это Муравьев, как бежит адъютант с запиской:

— Господа! Нужен ординарец к генералу Чаплицу. Первым Муравьев вскочил.

— Нет, нет, Муравьев! — говорит адъютант. — Вас государь не велел пока беспокоить.

А у меня от «маковой росинки» храбрости еще прибавилось.

— Пошлите меня! — говорю.

— Вас? Да ведь вы еще не ординарец...

— Я исполню все не хуже ординарца.

— А что ж, отчего бы его и не послать? — говорит Муравьев. — Вчера еще был со мной на разведке, славного коня себе у француза отбил.

— Коли так, то извольте, — сказал адъютант и отдал мне записку.

Занимал генерал Чаплиц весьма выгодную позицию в трех верстах на холме, в некой деревне Клике. Домчался я туда на своем призовом коне вихрем.

Прочел генерал записку, приказал поставить восемь орудий против плотины, проложенной внизу через топь, а затем казака кликнул:

— Вот царская записка. Сейчас поедешь с нею к генералу Грекову и скажешь, что орудия уже поставлены и прикрывают плотину.

— Генерал! — говорю. — Разрешите мне это сделать?

Взглянул он на меня; видит, что я нетерпением горю.

— Что ж, пожалуй, — говорит, — поезжайте вместе с казаком.

И понеслись мы с казаком под гору да через плотину.

Стоял генерал Греков со своими донцами лицом к лицу с неприятелем, но неприятель владел уже косогором и обстреливал сверху наших. Прочел и Греков царскую записку, выехал перед фронтом своих молодцов-донцов и зычным голосом им возвестил:

— Ребята! Велено нам взять у французов «языка», а потом за плотину к той деревне отойти. Возьмем же у них «языков», сколько Бог пошлет.

— Рады стараться! — грянули те в один голос, как из пушки.

Взял тут Греков у одного казака пику и стал во главе своих удальцов.

— Марш-марш!

С пикой наперевес соколом на косогор первым взлетел, и вся соколиная стая восьми полков казачьих за ним следом. Встретили их французы дружным залпом, но зарядить снова не успели, как уже донцы со своими пиками и шашками нагрянули. Пошла рукопашная... кровь так и льется... люди падают и уже не встают... У меня в глазах зарябило. Вижу, однако, что один француз-офицер поднимается. Я к нему и за шиворот:

— Сдавайтесь!

Сдался. Забрали казаки еще человек двадцать и двинулись мы с пленными обратно, как приказано было, через плотину к деревне Клике, к генералу Чаплину.

Вдруг навстречу нам, откуда ни возьмись, на своем Буцефале Сагайдачный.

— И ты, брат, тут? — говорит он мне. — Как сюда попал?

Рассказал я ему, а также об атаке донцов и

о том, как взял я в плен французского офицера, который плелся пешком передо мною.

— А саблю у него так и не отобрал, хорошо! — пристыдил меня мой хохол и обратился к пленнику: — Позвольте сюда вашу саблю. Куда вы, скажите, ранены?

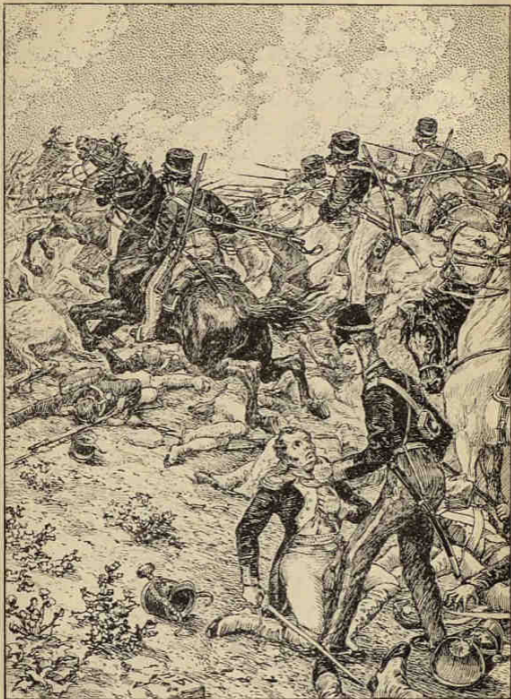
Ничего тот не ответил, с гордым видом только на груди мундир распахнул, — вся рубашка в крови.

— Мы самому государю вас представим, — утешил его Сеня. — Наши доктора живо вас вылечат.

Так прибыли мы к генералу Чаплицу. Выслушал он нас, похвалил.

— А саблю эту, — говорит, — вы сами уж представьте его величеству.

Когда мы затем с нашим пленником и его саблей пред царские очи предстали, от необоримого волнения у меня дух захватило, и я, как говорится, стушевался. А Сагайдачный складно и пребойко доложил и про распоряжения Чаплица, и про молодецкую атаку донцов, точно он сам в оной участвовал, и про то, как потребовал он, Сеня, у пленного офицера саблю (что в плен того не он забрал, он умол-



— Сдавайтесь!

чал), а закончил тем, что попросил у его величества оставить ему ту саблю на память. Государь милостиво улыбнулся, соизволил на просьбу и спросил его фамилию. А стоявший тут же Волконский пояснил:

— Племянник графа Разумовского. Был уже и ранен.

— И все еще юнкер? Поздравляю тебя корнетом. Я не завидую Сене, ай, нет. Буди воля Божья! Но для чего он столь продерзостно себя одного выставил? Зачем не признался, что никогда и ранен не был?.. Да сам я многим ли его лучше? Он-то хоть настоящим юнкером числился, а я, как никак, самозванный... Приходится хранение устам положить. Но переносить сие все же куда тягостно: сердце обида сосет...

Не могу продолжать. Скажу только, что в 4 часа дня от Наполеоновых гранат запылал Бауцен, запылали окружающие селения. Толпы бесприютных жителей: стариков, женщин, детей, в отчаянии разбежались по полю сражения, убитыми и умирающими усеянному. Французы с криком «вив л'амперер!» все напирали; союзные войска дрогнули, подались

назад...

И повелено было прекратить кровопролитие... Отступали как на парадном марше, тихо и стройно. Потеряли, как и при Люцене, 20 тысяч убитыми и ранеными. Но в руках неприятеля не оставили, по крайней мере, ни пленных, ни орудий, ни даже повозок. Полной победы Наполеон все-таки не одержал...

* * *

Герлиц, мая 14. Витгенштейн смещен: главнокомандующим назначен Барклай-де-Толли. Авось, не к худшему.

* * *

Рейхенбах (силезский), мая 21. На переходе сюда о встречах с музыкой и прочими онёрами помину, конечно, уже не было. Ночевать под крышей неохотно даже пускали. Посему я немало удивлен был, когда тут, в Рейхенбахе, еще в городских воротах, почтенного вида женщина меня перехватила:

— Герр лейтенант! О, герр лейтенант! Задержал я моего Призового (так ретивый конь мой у меня теперь и прозван): чего ей, мол, от меня?

— Г-н лейтенант не имеет еще квартиры?

Объяснять ей, что до «лейтенанта» мне еще далеко, не считал нужным; да и где уж с моим немецким суконным языком!

— Нейн, — говорю, — хабе ниht.

— Так пожалуйста ко мне.

— Да почему, — говорю, — варум?

— Добрым лицом своим г-н лейтенант доверие внушает: не даст меня в обиду, на постоя ко мне буянов не пустит. А у меня г-ну лейтенанту уж так хорошо будет!

Ну, что ж, от добра добра не ищут. И точно, отвела мне чистенькую комнатку с занавесочками на окне, с цветочными горшками. Для Призового моего тоже навес во дворе нашелся.

Государь принял приглашение графа Штольберга и остановился в соседнем его замке Петерсвальде. Главная же квартира — здесь, в Рейхенбахе. Городок хоть куда, да и окрестности приятный вид являют.

Что до военных действий, то таковые с 17-го числа, по соглашению с неприятелем, до времени приостановлены. Дело в том, что шведский принц, спасибо, оплатил за нас под Ютербеком: здорово поколотил францу-

зов. Вот и подослал к нам опять Наполеон из Дрездена своего Коленкура. Но и на сей раз того допустили только до аванпоста: с монархом его входить в прямые сношения государь наш по-прежнему не намерен. Ведутся переговоры через Меттерниха. Как бы только эта хитрая лиса австрийская кругом нас не обошла!

* * *

Мая 24. Вчера в Пойшвице перемирие заключили на 6 недель, до 8-го, значит, июля. Передышка для наших войск, как никак, желанная: поумаялись, да и поубавились. Убыль пополнить надо: в коих полках всего-навсе 200 человек осталось, а в коих и полтораста. Немало и офицеров перебито... Как вдуматься, — жутко становится!

* * *

Июня 4. Государь в Опочну отбыл, где с сестрой своей, великой княгиней Екатериной Павловной, встретится; туда же, слышно, и Меттерних вызван.

Австрия к союзу против Наполеона как будто присоединиться, наконец, хочет. Дай то Бог!

Июня 8. Изленился я от безделья, прости, Господи! Высыпаешься вслать, как в Смоленске, бывало, у маменьки. Обьедаешься вишнями и земляникой, которые на базаре просто нипочем. Слоняешься по улицам и мирный быт немецких бюргеров наблюдаешь. К столику в палисаднике трактирчика подсядешь, кружку пива потребуешь, заговариваешь с завсегдатаями-немцами, язык по-ихнему ломаешь. Осмотрел тоже по соседству стеклянный завод: вещь презанятная. А то и за город прогуляешься, по горным кряжам карабкаешься, живописными видами любуешься... Ни дать, ни взять, идиллия феокритова!

Временами, правда, и о маменьке в Толбуховке вспомнишь, да еще об одной милой особе, — и взгрустнется... Последний раз писал туда в апреле месяце; с тех пор все как-то по лени не соберусь.

А корнету вновь испеченному, Сене, не до меня: по целым дням с другими свитскими офицерами у вельможи прусского графа Цедлица гостит, коего замок за 20 верст отсюда в Богемских горах расположен. При замке вся-

кая роскошь и изобилие: оранжереи, домашний оркестр и прочая, и прочая. У графа — дочери на возрасте, да и соседние помещики с женами и дочерьми наезжают. Танцы и все такое... Мне, юнкеру, да из поповичей, знамо, там не место. Знай сверчок свой шесток.

* * *

Июня 17. И мне, однако ж, довелось-таки раз потанцевать. Заглянул ко мне вчера Сагайдачный новыми победами своими похвалиться; вдруг стук в дверь.

— Войдите! Херейн!

Входит хозяйка, фрау Кальб, делает нам книксен:

— У меня к господам лейтенантам большая просьба!

— В чем дело?

Дело оказалось в том, что у нее брат в соседней деревне харчевню содержит; нынче день рожденья его дочери Ханнхен; будут и танцы, так вот не окажем ли мы им великую честь...

— Ну, что ж, — говорит Сагайдачный, — окажем уж честь?

— Да ведь я, — говорю, — не танцую...

— Как не танцуешь? В Толбуховке каким козлом еще прыгал.

И отправились мы туда с хозяйкой. Приняли нас со всем почетом; после каждого слова и ему и мне: «герр лейтенант». Слепец-музыкант под темп вальса «Ах ду мейн либер Августин» на скрипиче своей запиликал, и деревенские парни и дивчины, схватившись, волчком закружились. Сеня мой тоже, разумеется, пустился с одной, с другой и с третьей, да так лихо, что любо-дорого; все кругом загляделись.

Тут ко мне сама Ханнхен подлетает, бойкая такая, быстроглазая:

— А вы что же, герр лейтенант?

— In spe, — говорю.

— Это что же значит?

— Значит, что я еще не лейтенант, а в надежде таковым сделаться. Вальса же вашего я, простите, танцевать не умею.

— О! Гопсер-вальцер — самый легкий. Пойдемте со мной.

И пошли мы вертеться, да при всяком повороте гоп! да гоп!

— Вот видите ли, — говорит, — как вы пре-

красно танцуете. Я вас и другим девицам представляю.

Подвела к ним и представляет:

— Герр лейтенант in spe.

Те «хи-хи-хи!», но вертеться со мной не отказываются, и так-то довертелся я до седьмого пота.

А тут и ужин; пива — море разлитое. Сельский учитель на новорожденную витиеватую речь сказал; Сагайдачный в свой черед за всех ее подруг тост провозгласил. Пошел и я с ними чокаться. А они, хохотуньи, одна за другой, точно сговорившись:

— Ваше здоровье, герр лейтенант in spe!

Что с них взять? Пускай тешатся. Но вдруг один подвыпивший парень с пренахальной усмешкой на счет «лейтенанта in spe» на местном своем наречии какую-то остроту отпускает. Я его тарабарщины не понял. Но девицы со смеху покатываются, а остальные парни: «Хо-хо-хо! Лейтенант in spe!».

В первый момент я даже не нашелся, как себя повести. Но Сеня мой хватъ кулаком по столу, загремел саблей и громовыми междометиями разразился:

— Бомбей унд гранатен! Крейцшокдоннер-веттер нох эйнмаль!

Остряка-парня словно молнией сразило: с перепугу под стол залез. Тут у нас с Сеней гнев разом испарился, оба мы расхохотались, а за нами и вся честная компания, которая тоже, видно, немало струхнула. Дабы нас совсем умиротворить, сельский учитель тост предложил за славную русскую армию, бескорыстно помогающую немцам иго тирана Европы свергнуть. Вылез из-под стола и остряк, громче всех «хох! хох! хох!» кричал.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

*Как Сагайдачный в плену побывал. —
Генералы Жомини и Моро. — Князь
Шварценберг хватается за голову*

* * *

Июля 8. Перемирие на три недели продолжено — до 29 июля. Император Франц все еще не может решиться порвать со своим грозным зятем.

* * *

Июля 9. От князя Волконского моему Сене

вчера головомойка была: зачем-де без спроса на целые дни из города отлучается. А сегодня опять как в воду канул. Верно его снова, как к магнитной горе, к Цедлицам потянуло.

* * *

Июля 11. Третий день о Сагайдачном ни слуху, ни духу.

* * *

Июля 12. Объявился! Захожу сам уж в штаб проведать, нет ли вестей о пропавшем.

— Никаких вестей, — говорят.

Вдруг дверь настежь, и перед нами как ни в чем не бывало мой Сеня.

— Морген, мейне геррен! Как поживаете? Ви гет-с? Обступили кругом, вопрошают:

— Да вы-то откуда? Где четыре дня пропадали?

— Угадайте, — говорит. — Не угадаете! В плену просидел.

— В плену? Что за сказки! За двадцать верст кругом ни одного француза.

— Пленили его не французы, а неотразимые немецкие очи в одном богемском замке.

— Смейтесь, смейтесь, — говорит. — Посидели бы вы, как я, день и ночь на цепи, не до

смеху бы вам было.

— Как так на цепи? Сочиняйте больше! На цепь в наше время, слава Богу, и неприятелей не сажают.

— Да дайте же ему рассказать, господа! Говорите, Сагайдачный: как это могло случиться с вами?

— А очень просто, — говорит. — Отправился я за город в горы...

— Да вы же ведь не признаете горных прогулок?

— А вот подите же! Пришла раз фантазия. Забрел в такую дичь и глушь, что и сам не рад. Иду тропинкой: куда-то меня выведет? И вывела она меня, как Ивана-царевича, на перекресток; на перекрестке — три дороги: направо пойдешь — коня потеряешь...

— Но коня своего вы дома ведь оставили?

— Вот потому-то и жалеть мне его было нечего: все равно не пропадет.

— И вы пошли направо?

— Пошел направо. Иду себе, иду, еле ноги уже волочу. Прилечь бы немножко! А под деревом, как на заказ, моховая кочка-подушка, да и только. Прилег...

— И заснули?

— Заснул богатырским сном. Проснулся уже ночью; темень непроглядная. Однако, не ночевать же в лесу! Встал, пошел опять, а куда — и сам уж не разберу. Долго ли, коротко ли, — из чащи выбрался. Эге! Костры. Бивак, значит. Подхожу. Как вдруг:

— Ки ва?

Батюшки мои! Французы!

Пошел наутек. Не тут-то было. Нагнали, к генералу своему повели.

— Шпиона, — говорят, — поймали. А генерал спросонок:

— Шпиона? Сакр-блё! На цепь его!

И посадили на цепь, обеими ногами к стенке приковали. Да, господа! Не дай Бог никому из вас удовольствие это испытать — трое суток на цепи в ожидании расстрела!

— Так вас и к расстрелу уже присудили?

— Суда надо мною еще не было; кроме часового, никто носа ко мне не показывал. Но шпионов на войне, сами знаете, не милуют. И решил я бежать. Говорю часовому:

— Кандалы мне одну ногу до крови натерли. Сними-ка их мне, мон шер. Ведь и другой

скованной ноги тебе довольно, чтобы не убежал.

Сжалился простачек.

— Которую, — говорит, — натерло?

— Да вот левую.

Снял он с нее цепь; а я, как только он за дверь, понадергал из тюфяка своего соломы, скинул с себя, с позволенья сказать, рубашку, хватил потом скамейкой об пол — трах! ножка отскочила; взял ее, обвернул соломой и рубашкой, сверху чулок еще натянул, — нога как нога. Свою же собственную ногу под себя подвернул. Приходит опять часовой:

— Ну, что, мосье, как нога?

— Отошла, — говорю, — мерси. Можете опять цепь наложить.

Наложил он ее на обвернутую палку. А я ему:

— Раз вы, мон ами, такой милый человек, не снимите ли вы теперь цепь с другой ноги, чтоб и ей отдохнуть?

Но лишь только он цепь снял, как я на ноги вскочил, самого его с ног сбил, бросился вон, дверь снаружи на замок — и был таков.

— А сапоги свои вы когда же надели?

— Сапоги?..

Сагайдачный озадаченно смотрит на свои ноги, которые обе в сапогах.

— О! — говорит. — Они стояли там же, около двери. Набегу я схватил их и потом уже на дороге сюда надел.

— Не любо — не слушай, а врать не мешай, — заметил Муравьев.

Все кругом:

— Ха-ха-ха! Обиделся:

— Вы, господа, мне не верите? Такие ли еще случаи бывают! Слышал я, например, про одного арестанта, который был точно так же прикован к стене и, чтобы бежать, ступню ноги себе ножом отрезал...

— И побежал без ступни? А потом на радостях еще вприсядку прошелся? Знаете что, Семен Григорьич: вы про плен ваш князю Петру Михайлычу лучше уж и не заикайтесь.

— Почему же нет?

— Потому что он, как и мы, не поверит.

— Ему-то уж так распишу, что поверит.

— А поверит, так для вас же хуже: он во все концы разведчиков разошлет, и так как на 20 верст кругом никаких французов не окажется-

ся, то за ложное донесение вас на цепь хоть и не посадят, но к суду потянут. Мой совет вам — откровенно повиниться: посердится, но умиласердится.

А тут как раз и курьер от Волконского:

— Ваше благородие! Пожалуйте к его сиятельству. Побледнел мой Сеня, но, делать нечего, поплелся к его сиятельству. Через пять минут назад возвращается — уже не бледный, а пунцовый до ушей.

— Ну, что? — спрашивает Муравьев. Криво усмехнулся.

— Да что! На неделю под арест.

— Только-то? Скажите спасибо петербургскому дядюшке.

— Арест-то что! Чего мне жалко, так моего анекдота. Уж так, кажется, складно придумал, лучше всякого романиста. А князь и слушать не хотел. «Покайтесь, — говорит, — что были у графа Цедлица». Ну, и покаялся. Заврешься — бьют, недоврешься — бьют. Вперед наука: ври, да знай меру.

Вот он каков, мой хохол! Как с гуся вода. А теперь и писаря и курьеры по всему штабу анекдот его со смехом пересказывают. Одоб-

рение всеобщее еще заслужил!

* * *

Июля 31. Наконец-то Австрия надумалась! Заключила с нами и Пруссией оборонительный и наступательный союз и Наполеону открыто тоже войну объявила.

Дабы неприятеля с тылу и фланга обойти, на соединение с «цесарцами» (как называют у нас австрийцев) завтра один русский корпус и один прусский в Богемию выступают; главные же силы на него с фронта ударят.

* * *

Прага, августа 4. В один и тот же день в императорскую квартиру прибыли и государю свои услуги предложили два весьма известных французских генерала: Жомини и Моро.

Жомини прославился как военный писатель и своими советами весьма полезен союзникам быть может.

Происхождением он, впрочем, не француз, а швейцарец, и давно уже у Наполеона в отставку просился, в коей ему, как иностранцу, не могло быть отказа. А как Наполеон его все же не отпускал, то он ушел от него тихомол-

КОМ.

Моро лавры на поле битвы стяжал себе еще во времена французской республики. Когда же Наполеон императором себя провозгласил, Моро им в заговоре был заподозрен. По суду Моро оправдали и выпустили из тюрьмы, но Наполеон потребовал, чтобы он переселился в Америку. Там Моро изгнанником до сего года пребывал, но, зуб против Наполеона все еще имея, вернулся, чтобы помочь союзникам доконать его.

Обоих — и Жомини, и Моро — государь к себе генерал-адъютантами принял. В главном штабе работа котлом кипит, ибо не нынче-завтра военные действия должны возобновиться. Весь вопрос только в том, кому быть главнокомандующим трех союзных армий.

* * *

Августа 5. Час от часу не легче. Государь наш в главнокомандующие Моро наметил, дабы ни русским, ни пруссакам, ни австрийцам обидно не было. Но Меттерних наотрез объявил, что буде сей пост не предоставят австрийскому фельдмаршалу князю Шварценбергу, то Австрия немедля из союза выходит и

руки, как Пилат, умывает. Государь до крайности огорчен; но Моро его утешает:

— Если бы ваше величество раньше моего совета спросили, то командовать я предложил бы никому иному, как вам самим; я был бы вашим главным помощником. Теперь же я могу служить вам только моей боевой опытностью. Да поможет нам Бог!

* * *

Августа 11. Объявлен поход на Дрезден, и по всей нашей армии приказ отдан, по примеру цесарцев, к киверам и шляпам по зеленой ветке прицепить. По сведениям разведчиков, в Дрездене Наполеоном только маршал Сен-Сир оставлен, так что овладеть городом большого труда не будет. Блюхер со своей Силезской армией двинется туда прямо из Саксонии; Главную же армию, вместе с своею цесарскою, поведет окружным путем, через Теплиц, новый главнокомандующий Шварценберг, при коем будут и все три союзных монарха. Однако, офицерство наше в военный гений Шварценберга плохо верит. Родом он, правда, не австриец, а славянин — чех, и с виду вождь, как вождь; рослый, тучный и

преважный, — не подходит близко. И в бою, говорят, храбр, ядрам не кланяется; но муж невысокого ума и решения сразу никогда принять не может: ни два, ни полтора. Так какой же он полководец, да еще против столь искусного, как Наполеон?

Село Рекниц перед Дрезденом, августа 16. Ну, вот, раздоры у нас уже начались!

Подошли мы сюда под вечер. Остановились на высотах. По оба берега Эльбы Дрезден раскинулся; впереди — лагерь авангарда французов. Увидел их Моро, и сердце у него горечью наполнилось:

— Вот те самые солдаты, — воскликнул он, — которых я так часто водил к победе!

— А теперь поведете к ней вместе с князем Шварценбергом нашу союзную армию, — сказал государь. — Есть у вас уже план действий?

— Я предложил бы, — говорит Моро, — беспромедлительно бомбардировать город, пока к гарнизону Сен-Сира не подоспели еще другие силы.

— Что вы! Что вы! — испугался Шварценберг. — Бомбардировки я вообще избегаю; а

разрушать такой прекрасный город, как Дрезден, было бы просто преступлением.

— Ах, вот как! Воюют, князь, однако, не для того, я думаю, чтобы щадить врагов, а для того, чтобы причинять им возможно больше вреда. Саксонский король — союзник Наполеона, значит, и враг наш. Зачем же было тогда подходить к этому прекрасному городу, а не выбрать другое поле сражения?

— Я совершенно согласен с генералом Моро, — говорит государь. — По моему мнению, не следовало бы терять ни минуты.

Насмешливый той Моро задел Шварценберга за живое, и он уперся на своем:

— Я, простите, противоположного мнения. Атаковать мы всегда еще успеем. Дайте сперва подойти всем нашим австрийским корпусам...

— Тогда нам придется ожидать до второго пришествия! — загорячился Моро. — Бесконечные ваши обозы застряли в проклятых ваших Богемских горах...

Тут и Шварценберг в сердце вошел:

— Наши Богемские горы, — говорит, — созданы не Мною, генерал, а Господом Богом, и

убрать их с пути обозов ни в моей, ни в вашей даже власти! Я лично против всякой спешки. Ваше мнение, Радецкий? — обратился он к начальнику своего штаба.

— К ночи атаки редко когда удастся довести до конца, — отвечает Радецкий. — При том же и план атаки еще не выработан.

— А вы что скажете, господа? — отнесся Шварценберг к остальным генералам.

Лицом к лицу с врагом все они, быть может, проявили бы чудеса храбрости; но возражать главнокомандующему у немногих мужества достало. Мнения разделились, пошли долгие препирательства за и против. Восторжествовало мнение главнокомандующего: начать атаку завтра в 4 часа дня. Не быть бы беде!

* * *

Августа 14. Так ведь и вышло! Сама природа будто на Шварценберга ополчилась: разверзлись хляби небесные, в течение ночи все горные тропы размыло, по коим войска должны были взбираться и спускаться. Особенно же тяжело приходилось артиллерии: изнуренные лошади на кремнистых дорогах теряли

подковы, на крутых спусках скатывались, на задние ноги по-собачьи садились и по-собачьи же жалобный вой издавали. Ординарцы, а с ними и я, то туда, то сюда посылались — узнать, не прибыла ли уже такая-то партия. Одна за другой они прибывали, но с большим опозданием. Так только к часу дня высоты над Дрезденом были заняты союзными войсками, крайне истомленными ночным переходом. А план атаки у высшего начальства все еще не был окончательно готов; вокруг трех монархов и главнокомандующего все корпусные командиры столпились, и каждый, усердствуя, предлагал то, что за ночь надумал.

Но вот подводят пленного дрезденца.

— Вы, что же, сейчас из города? — спрашивает его Шварценберг.

— Из города, — говорит. — У меня тут по соседству мыза; так хотел посмотреть, не разграбили ли ее австрийские солдаты.

Как вскинется Шварценберг:

— Семнадцать лет я команду австрийскою армией, и случая не было, чтобы мои солдаты грабили мирных граждан! А в городе,

у французов, скажите, все по-прежнему? Новых сил не подошло?

— За ночь подошло 100 тысяч...

— Быть не может!

— Верно; а в 10 часов утра прибыл и сам Наполеон.

Шварценберга как обухомхватило.

— Сам Наполеон! — смятенным голосом воскликнул. — Как же нам быть теперь, господа?

Моро в сердцах хлопнул свою шляпу оземь.

— Милль тоннёр! Теперь-то, мосье, ни чуть меня уже не удивляет, что семнадцать лет вас постоянно били!

— Не волнуйтесь, генерал, успокойтесь, — сказал государь и отвел его под руку вон.

— Государь! Этот человек все погубит! — отвечал Моро.

Пошли опять совещания. Большинство находило, что атаковать самого Наполеона, да при таких его силах, рискованно. Судили-рядили час, и два, и три. Да за горячим спором никому в голову не пришло отменить сделанное уже по армии распоряжение об общей

атаке в 4 часа пополудни.

И вот, с дрезденских башен звон часов доносится: раз, два, три, четыре, а в следующий момент союзные батареи на высотах дружно загрохотали, тучи ядер и гранат полетели в город, и полтораста тысяч союзной пехоты ринулись вниз, чтобы штурмовать городские стены.

Шварценберг за голову схватился.

— Иисус и Мария! Да у нас и фашин-то для штурма еще не подготовлено, ни лестниц...

И то, что предвещал Моро, сбылось: французы, присутствием своего кумира воодушевленные, сделали из всех городских ворот одновременно отчаянные вылазки и нападающих везде назад отбросили. А тут и сумерки; осенний дождь заморосил... И — по всей линии отбой, отбой!

Сколько времени уже все смолкло; кругом бивачные огни. Словно ничего и не бывало. Но с утра сизнова смертный бой; скольких еще не досчитаемся, Владыко многомилостивый!..

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Моро смертельно ранен. — Первая победа и пленение маршала Вандама

* * *

Дипольдисвальде, августа 16. Звезда Наполеонова опять воссияла; а наша — наша в эту кампанию, увы! еще и не восходила...

В ночь на 15-е небывалая буря разразилась — буря с ливнем, который и к 6-ти часам утра не прекратился, когда монархи с главным командующим на позицию выехали. Загремели пушки; но порох, от дождя отсырев, в ружьях не воспламенялся, и пехота ружейным огнем чувствительный вред причинить неприятелю возможности не имела.

В 3-м часу дня подъезжаю я с рапортом к князю Волконскому, который вместе с государем и Моро (все верхами) находился около одной австрийской батареи, прежде жестоко обстреливаемой французами. Рапортуя, слышу в то же время слова Моро:

— Поверьте моей опытности, государь! Вон с того пригорка вам так же хорошо все видно

будет, здесь ваша жизнь каждую минуту в опасности.

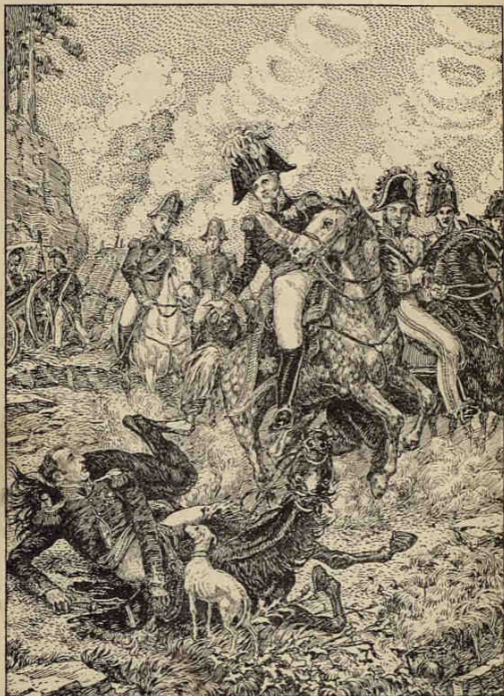
Государь внял совету и коня поворотил. Но только лишь конь Моро ступил на то самое место, где перед тем стоял царский конь, как неприятельское ядро ударило Моро в правую ногу и начисто ее оторвало; мало того: пробило насквозь тело коня и у всадника еще икру левой ноги вырвало и часть колена. Все окружающие наперерыв, конечно, поспешили подать несчастному первую помощь.

— Смерть! Смерть!.. — бормотал он и, кровью истекая, сознание потерял.

Наскоро, чем попало, перевязали ему ужасные его раны. Настоящих носилок на месте тоже не оказалось. Сложили носилки из пик, древесных сучьев и солдатских шинелей.

Во время перевязки государь ни на миг не отходил от умирающего, и когда тот, очнувшись, глаза раскрыл, государь со слезами в голосе утешать его стал. А Моро в ответ:

— Господь судил мне погибнуть в первом же деле против моих соотечественников... Но мне отрадно умирать за правое дело и на глазах столь великого монарха!



Генераль Моро смертельно ранень.

— Вас, князь, я попрошу сопровождать генерала до перевязочного пункта, — сказал государь Волконскому. — Передайте Вилье мое желание: облегчить, насколько возможно, страдания генерала.

Сагайдачный был уже тут как тут и бережно покрыл Моро своим собственным плащом. Как вдруг, откуда ни возмись, под ноги ему прехорошенькая собачка с отчаянным визгом и лаем.

— Уберите ее! — приказал Волконский. Сения схватил ее за серебряный ошейник.

— Да тут, — говорит, — ваше сиятельство, надпись на ошейнике: «*J'appartьен о женераль Моро*».

— Так возьмите ее тоже с собой на перевязочный пункт.

Таким-то образом узнал я потом от Сени, что было там дальше.

Перевязочный пункт находился в соседней деревне; но страдания раненого были столь мучительны, что его донесли только до ближайшего одинокого крестьянского домика. Туда же и лейб-медик Вилье был вызван. Час спустя обе ноги Моро были ампутированы.

При сем случае он выказал геройское присутствие духа. Несмотря на адскую боль, он хоть бы раз вскрикнул; только нет-нет, да и охнет. Во время же перевязки курил сигару. Но не успел он ее докурить до конца, как в стену дома с треском ударили, одно за другим, два неприятельских ядра и угол той самой комнаты разрушили, где лежал Моро, так что пришлось перенести его в комнату рядом. Он горько улыбнулся:

— Наполеону все еще мало: и умирающего меня преследует!

А Шварценбергу тоже не повезло: Моро, правда, не мог уже мешать ему своими непрощеными советами; но вот от Барк-лая-де-Толли адъютант прискакал за инструкцией: как быть? Хотя и приказано, мол, артиллерии спуститься с гор на маршала Нея, но внизу дождями грязь развело непролазную, орудия завязнут и, в случае необходимости отступить, обратно на горы им уже не взобраться.

Главнокомандующий наш опешил. Ахти! Что, в самом деле, предпринять?

А тут из Плауэнского оврага еще хуже ве-

сти: обе стороны оврага должны были занять два австрийских корпуса; но один из них неведомо где застрял, а другой, окруженный неприятелем, сдался, — целый корпус!

Шварценберг окончательно голову потерял. Убраться вон всего вернее... Не в первый ведь раз и не в последний...

И началось опять бесславное отступление под проливным дождем... А за два дня союзная армия еще на 30 тысяч поубавилась...

* * *

Альтенберг, 17 августа. Французы все напирают. Под Пирной графу Остерману пришлось отбиваться штыками. Наполеон, очевидно, хочет прорваться за нами в глубь Богемии. Чтобы его задержать и снова поднять дух приунывших солдат, государь, вопреки Шварценбергу, решил принять генеральное сражение.

* * *

Теплиц, августа 19. Ура! Первая победа, полная и блистательная! Главным образом, пожалуй, потому, что сам Наполеон своими войсками не мог командовать: 16 числа внезапно расхворался и воротился в Дрезден.

Узнали мы о том уже после от пленных французов.

Лучшим своим маршалом он почитает Вандама, про коего будто бы выразился так:

«Если б мне когда воевать пришлось против темных сил преисподней, то я послал бы Вандама: расправиться с самим чертом может один только Вандам».

И вот, на сей раз честь расправиться, если и не с чертом, то с союзниками он Вандаму предоставил.

Сразились 17 числа по большой дороге от Дрездена к Теплицу, около местечка Кульма. Первый день дела еще не решил; а потому описывать его не стану. Скажу только, что позиции мы сохранили, взяли 500 человек пленных; но у героя дня, графа Остермана, руку оторвало.

Ночь с 17 на 18-е государь провел в Дуксе — замке славного полководца 30-летней войны Валленштейна; но уже на рассвете выехал со своим штабом к полю битвы. Обсервационным пунктом была выбрана высокая гора, на вершине коей возвышаются развалины

древнего рыцарского замка. После четырехдневного ненастья день выдался погожий, солнечный, и с горы, как на ладони, можно было обозреть всю Кульмскую долину. Обе армии — союзная и неприятельская — были уже расположены внизу и на окружающих высотах в боевом порядке. Первыми загремели французские пушки в 7-м часу утра; наши не замедлили отвечать им. Но настоящий бой разгорелся только два часа спустя.

Прусский генерал Клейст должен был горным путем Вандама обойти. И вот, когда в 9 часов отдаленный гул прусских орудий показал, что Клейст зашел уже в тыл неприятелю, наша русская конница бросилась в атаку, за конницей беглым шагом двинулась русская же пехота, а с гор спустились в долину наши союзники: с правого фланга пруссаки, с левого — австрийцы, — и заварилась кровавая каша.

Меня, наравне с ординарцами, не раз также посылали с приказаниями то к тому командиру, то к другому; и скакал я сквозь пороховой дым среди оглушительного шума битвы: орудийного грохота, ружейной трес-

котни, шипения гранат, свиста пуль, криков «ура!» и стонов раненых. Одной пулей пробило мне кивер; не сорвало его с головы благодаря лишь чешуе, застегнутой под подбородком.

Таким образом, следить за отдельными моментами боя я не имел возможности. Но к полудню французы, теснимые со всех сторон, дрогнули и смешались. Кавалерия их успела еще пробиться сквозь напиравших сзади пруссаков Клейста. Пехота же их искала спасения вразброд, куда глаза глядят. По окружающим скалам карабкались вверх тысячи беглецов, как посыпанные мышьяком тараканы.

Только что вернулся я снова к князю Волконскому с донесением, как примчался адъютант великого князя Константина Павловича, капитан-лейтенант Колзаков, и — прямо к государю.

— Поздравляю ваше императорское величество: главнокомандующий неприятеля, маршал Вандам, сдался в плен!

Стоявший возле государя император Франц шляпой замахал:

— Виват!

На расспросы: как да что? Колзаков рассказал следующее:

— Проезжаю я с двумя моими казаками мимо лесистого ущелья. Как вдруг из опушки выскакивает толпа всадников, по мундирам — французы, и вдогонку за ними казаки. Мои два казака тотчас тоже пики наперевес и с гиком навстречу французам. Впереди же французов тучный генерал несется в расстегнутом мундире и кричит мне, задыхаясь: «Спасите меня, генерал!» По моей флотской треуголке он меня за генерала принял. Я едва успел отвести от него удары казачьих пик. Тогда он назвался и мне свою шпагу отдать хотел; но я не принял, сказав, что он лично отдаст ее моему государю. Офицеры его были в отчаянии; он утешал их, руки им пожимал. Потом спросил, где такие-то двое раненых.

— Будьте покойны, — сказал я, — их приберут и отправят на перевязочный пункт.

Так рассказывал Колзаков. Подъехавший в это время великий князь Константин пожалел сейчас же видеть пленного маршала и, вместе с Колзаковым, поскакал ему навстречу. Возвратились они с Вандамом уже

шагом, ибо толстяк-маршал все еще не мог дух перевести. Красный, потный, забрызганный с головы до ног грязью, он не имел даже сил с коня слезть: его должны были снять. Сперва он трогательно распрощался с конем: обнял его за шею и поцеловал; потом уже, с трудом передвигая ноги, подошел к государю и с некоторою театральностью произнес:

— Ваше величество! Отдаю вам мою шпагу, служившую мне долгие годы во славу моей отчизны!

— Весьма о сем сожалею, генерал, — отвечал государь. — Но таков жребий войны! Вот начальник моего штаба, князь Волконский, позаботится о вас. Князь! Отведите пленных.

— Еще одно слово, государь, — сказал Вандам, — как милости прошу у вашего величества не отдавать меня в руки австрийцев!

А император Франц стоял тут же!

Недаром, однако, Вандам не хотел попасть в австрийские руки: когда его затем повезли в Теплиц, и у заставы повозка его должна была остановиться, чтобы пропустить союзные войска, возвращавшиеся с поля сражения, — цесарцы повели себя крайне недостойно: на

пленного генерала пальцами показывали и на его счет всякие глупые шутки отпускали. Вандам был до того ожесточен, что когда мимо него сам император австрийский со своим штабом проследовал, пленник не мог уже сдержаться и крикнул:

— Ваше величество! Так-то вы обходитесь с маршалом императора Наполеона, вашего близкого родственника? Я не премину известить его о вашем поступке. Берегитесь его мести!

На что император Франц, не найдя ответа, пробормотал только:

— Я тут ни при чем... И пришпорил коня.

Наш же государь оставался в Кульмской долине до самого вечера, объезжал и утешал раненых. Там же застал его и курьер фельдмаршала Блюхера с радостною вестью, что при Кацбахе его Силезскою армией одержана столь же решительная победа над маршалом Макдональдом: взято 18 000 пленных и 103 орудия!

Нынче, 19-го числа, был парад нашим войскам. Победа словно живой водой их спрыснула: предстали они в столь бодром и свежем

виде, точно и в огне не побывали. Государь благодарил молодцов и объявил, что будет учрежден особый комитет для вспомоществования всем раненым; а король прусский обещал наградить орденом Железного Креста всех наших офицеров и солдат, сражавшихся при Кульме. От государя, кроме того, конечно, будут особые еще награды, но приказ об этом выйдет только 30-го числа — в день Ангела государева.

— Может, и нам с тобой что перепадет, — говорит мне Сагайдачный.

— Мне-то за что? — говорю.

— Да ведь тебе кивер прострелили; на вершок бы ниже — и аминь! Хочешь, я о тебе напомним?

— Нет, уж оставь... Вспомнят обо мне — ладно, а не вспомнят, так, значит, не судьба.

У меня словно предчувствие, что всякая награда мне не к добру, а на погибель...

* * *

Августа 20. Приходит ко мне Сеня, весь сияющий.

— Ну, Андрюша, в ножки мне поклонись: тебе, кажется, тоже дадут эполеты. Говорил я

с самим Волконским.

— Да ведь просил же я тебя не говорить...

— К слову пришлось. Ты точно боишься стать офицером?

— И то боюсь. Ведь в приказе-то как будет сказано? «Производится в корнеты такой-то юнкер»... А какой же я юнкер? Сам знаешь, что я и экзамена никакого не сдавал...

— Станешь корнетом, так и об экзамене никто уже не спросит; все будет шито-крыто.

Вот и толкуй с таким ветрогоном!

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Повинная и арест. — Юнкерский экзамен и атаман Платов

* * *

Августа 25. Тёплицкие горячие ванны своей целебностью славятся. Вот император Франц и предоставил их в пользование нашим больным солдатам. Но купаться пока что никому доселе не приходится: после похода да кровопролитной битвы столько грязного белья накопилось, что целый день в тех ваннах стирка идет.

От множества войск в городе цены на все съестное баснословные; хлеба же ни за какие деньги уже не раздобыть. Расположенные по окрестностям полки, впрочем, еще больше нашего в продовольствии нуждаются. Фуражиры их за десятки верст рыскают; а в ожидании и нижние чины, и офицерство грушами и сливами пробавляются: все дороги здесь фруктовыми деревьями обсажены, ешь, — не хочу.

Пруссаки с нами, русскими, по-прежнему ладят: «Либер фрейнд! Камерад!» Цесарцев же, как и мы, не терпят, то и дело драки с ними заводят.

* * *

Августа 27. Нигде покою себе не нахожу: роковое 30-е число все на уме. Чтобы порассеяться, в театр пошел, — разумеется, на верхи, в парадиз: юнкера ведь те же нижние чины. Шла шутка Коцебу: «Проказы шута». Немцы покатывались со смеху. Мне же вовсе не казалось смешно, потому ли, что очень уж пошлы их немецкие «проказы» и «вицы», или потому, что у самого на душе такая скверность... Скорее бы хоть 30-е наступило! Один конец...

Августа 29. Предчувствие меня, не обмануло.

*Каких не вымышляй пружин,
 Чтоб мужу бую умудриться,
 —
 Не можно век носить личин,
 И истина должна открыться...*

У штабного писаря, что переписывал завтрашний приказ о наградах, Сагайдачный выпытал, что ему, Сене, дают Станислава с мечами в петличку, а мне и взаправду эполеты. У меня сердце совсем упало, и я решился идти к начальству с повинной. Но решение — одно, а выполнение — другое. Когда я толкнулся в приемную князя Волконского, то она была полна штаб- и обер-офицеров. В это время из княжеского кабинета выходит Муравьев. Я — к нему.

— Голубчик, Николай Николаич! Мне непременно надо к князю; но очереди тут нашему брату не дождаться.

— Да, уж придется вам потерпеть день другой.

— Но мне надо к нему теперь же, сейчас, во что бы то ни стало!

— Что за спех такой?

— От этого зависит вся судьба моя.

— Да в чем дело?

И стал я шепотом выкладывать ему начистоту, как в Смоленске добывал себе заграничный вид. Он, однако ж, не дослушал.

— Простите, мой милый; мне решительно некогда: наши пешие гвардейцы дают завтра, в Александров день, в своем селении банкет прусской гвардейской пехоте и артиллерии. Я откомандирован по сему случаю в распоряжение командира Преображенского полка, и вот тороплюсь теперь туда. Хотите, поезжайте со мной? По дороге мне и доскажете.

Так я поехал с ним да, яко исповеднику на духу, поведал ему все, что меня так удручало. Он сделал пресерьезное лицо.

— М-да, некрасивая история... Губернаторского чиновника вы пожалели, а себя подвели. Вот и расплачивайтесь. О производстве вашем в офицеры не может быть теперь, кажется, и речи.

— Но приказ уже переписан...

— В этом и загвоздка. Вечером я буду снова с докладом у князя Петра Михайлыча; доложу ему, извольте, и об вас.

— Но что меня ожидает?

— А уж это предсказать вам не берусь. Хорошо, коли не разжалуют в солдаты. Ну, да и из солдат ведь выслуживаются. Падать духом военному человеку не приходится. А вот мы и у места. Полюбуйтесь, кстати, столовой для банкета.

Столовую, в самом деле, стоило посмотреть. Устроили ее в огромной мазанковой риге. Все четыре стены разобраны; оставлены одни столбы под крышей, и те сверху донизу зеленью перевиты. Люстры и бра — из живых цветов, нарочито выписанных из Праги. Главный стол, по середине риги, предназначен для высочайших особ и их свиты; вокруг одного широким полукругом поставлен другой длиннейший стол для прусских офицеров, которые сидеть будут только с наружной стороны лицом к главному столу.

— А где же стол для наших офицеров? — спрашиваю я Муравьева.

— Им, хозяевам, сидеть не полагается. Они

будут угощать дорогих гостей: гренадеры гренадеров, артиллеристы артиллеристов и т. д. В разных местах будут, разумеется, хоры музыкантов и песельников.

Да! Банкет выйдет знатный, со здравицами, музыкой, песнями... Но мне-то таковые — звук пустой: дома у себя сидя, я участи своей ожидаю; Муравьев после доклада Волконскому зайти обещал.

... Вместо Муравьева зашел дежурный офицер.

— А я, Пруденский, за вами. Приказано вас под арест взять. Да вот вам записочка от Николая Николаича.

Записка была наскоро написана карандашом: «Зайти к вам сейчас не имею возможности. Вышло, как я предсказывал. Но князь Петр Михайлович доложит еще государю».

И я уже в арестантской, да не в общей, а в одиночной, на хлебе и воде. Прощай, эполеты! Прощай, значит, и Ириша!

* * *

Августа 31. Весь вчерашний день ни одна душа ко мне не заглянула. Не до меня им было — царские именины! Сегодня же зашел

Муравьев.

— Ну, Пруденский, страшен сон, да милостив Бог.

— Меня простили?

— Простить не простили...

— Но князь докладывал обо мне государю?

— Докладывал. По-настоящему за самозванство вас следовало в арестантские роты закатать без выслуги...

Как ни крепился я, а на глазах слезы наворачнулись.

— Полно вам малодушничать! — сказал Муравьев. — Не все ведь еще для вас потеряно. Слушайте дальше. Когда князь вас по имени назвал, государь про вас вспомнил:

— Да это не тот ли самый юнкер, у которого при Кульме кивер пулей пробило?

— Тот самый.

— Так лишить его всякой выслуги было бы слишком жестоко.

— Но юнкерского экзамена, ваше величество, он еще не сдавал.

— Так пускай сдаст.

— Весьма сомневаюсь, ваше величество, — говорит Волконский, — что он сможет сдать:

сам он сознался мне, что за малоуспешность в науках должен был оставить семинарию.

— Продержите его месяц под арестом: за это время он подготовится.

— Помилуйте, Николай Николаич! — воззвал я к Муравьеву. — Где же в месяц времени подготовиться по всем предметам? И так-то мозги мои познаниями никогда обременены не были, а теперь и последнее выдохлось.

— Уж это ваше дело. Юнкерский экзамен, да еще в военное время, не такая уж мудрость. Приналяжете хорошенько — и выдержите. «Хочу» — половина «могу». А не сможете, так уж не взыщите, — будете разжалованы.

Я и голову повесил.

— Да и книг учебных, — говорю, — мне негде взять!

— Русских учебников здесь, у немцев, разумеется, не найти...

— А в немецком языке я швах, зер швах!

— Но кое-что все-таки понимаете? А по-французски и говорите и читаете свободно?

— В Москве, в плену у французов, несколько книг перечитал.

— Вот это и пойдет вам теперь впрок.

— Но французские учебники здесь тоже вряд ли найдутся...

— Так готовьтесь по немецким с французским лексиконом. Подробностей вас спрашивать не станут, а самое главное я отмечу вам карандашом. Математикой же займусь с вами сам. Сейчас пойду справится, где тут книжные лавки. До свидания.

Этакая добрая душа! Сколько ведь на свете милых людей! Придется уже стряхнуть с себя эту проклятую славянскую лень...

* * *

Сентября 12. Сначала мне приходилось тяжело, пока возился с лексиконом. Но все отчеркнутое Муравьевым в географии и истории Сагайдачный переводит мне теперь на русский язык, а потом еще переспрашивает. Арифметика же и геометрия у самого Муравьева идут как по маслу.

* * *

Сентября 22. На Бога надейся, но и сам не плошай. До конца ареста мне оставалась еще целая неделя, как вдруг меня зовут к Волконскому.

— Ну-с, Пруденский, — говорит он, — мы выступаем из Теплица; в дороге держать вас взаперти негде. Надеюсь, что арест свой вы использовали. Экзаменовывать юнкеров положено собственно в особой комиссии; но на войне допускается и упрощенный способ. На ваше счастье я кое-что уж позабыл; но чего не должно забывать, то еще, слава Богу, помню. Назовите-ка мне главные города Европы.

От Муравьева я слышал, что это первый вопрос, который, обыкновенно, предлагают из географии, и я невольно улыбнулся. Волконский нахмурился.

— Чего вы улыбаетесь?

— Простите, ваше сиятельство, — извинился я, — но это так просто. Я знаю главные города даже всех 22-х кантонов Швейцарии.

— Вот как? Я сам, признаться, никогда их не знал. Что ж, говорите.

И я забарабанил, как по клавишам:

*— Цюрих, Ури, Швиц, Люцерн,
Унтервальден, Гларус, Берн,
Шафгаузен, Флрейбург, Аппенцель,
Золотурн, Базель, Нейшатель,
Граубинден, Галлен, Цуг, Ааргау,*

*Генф, Валлис, Тессин, Ваадт, Тур-
гау.*

— Пойдите, — говорит Волконский, — да ведь это как будто стихи?

— Точно так; это немцы придумали, чтобы легче было запомнить.

— Да, немцы народ практический. Но по-русски города Генф, имейте в виду, не существует, а есть Женева. Ну, да не всякое лыко в строку.

И он задал мне еще несколько вопросов, на которые я с грехом пополам ответил.

— Так-с... — сказал он. — Перейдем к истории. Что бы такое спросить вас?..

Значит, география прошла благополучно! Это меня так ободрило, что я уже сам подсказал ему вопрос:

— Для военного человека, ваше сиятельство, ведь самое важное — беззаветная храбрость и самопожертвование ради отчизны или великого дела?

— Несомненно.

— А примеров тому в истории было немало; в древней: Леонид при Фермопилах, Муций Сцевола, Публий Денис Мус... В средние

века: Арнольд Винкельрид, Вильгельм Телль...

— Ну, Вильгельм-то Телль — личность полумифическая, — перебил меня Волконский. — А в русской истории кто тем же отличился?

— В старые времена, — говорю, — Пересвет.

— Пересвет? — переспросил он, точно имени инока-богатыря никогда еще и не слышал.

Одной из излюбленных тем нашего учителя истории в бурсе была Куликовская битва, а потому я без запинки рассказал теперь о том, как в самом начале битвы Пересвет и великан-татарин Челубей сшиблись на копьях с такою силою, что оба пали мертвые.

— Личная храбрость в сражении для воина, конечно, первое условие, — сказал Волконский. — Смелость города берет. Но исход сражения решает обыкновенно все-таки гений полководца. Гений Наполеона общепризнан. А у нас кого вы назовете?

Хотелось мне для смеху назвать уже Шварценберга или Винценгероде; однако ж воздержался и назвал Суворова и Кутузова.

— А у пруссаков в семилетнюю войну чей гений особенно проявился?

— Короля Фридриха II, за что он и прозван Великим. Война же та, собственно, продолжалась вовсе не семь лет...

— А сколько же?

— Шесть лет десять месяцев и восемь дней. Сказал я это совсем уверенным тоном, хотя, на самом деле, за точность месяцев и дней голову бы свою не прозакладывал. Но «смелость города берет», и экзаменатор мой меня не поправил.

— Та-ак-с, — протянул он опять. — Арифметику вы всю прошли?

— Всю. Сам Николай Николаич меня переспрашивал.

— А геометрию?

— Геометрию прошел до Пифагоровых штанов... виноват! Рейтузов.

Тут уж и Волконский губу закусил, чтобы не улыбнуться, и взглянул на часы.

— Ого! Мне пора к государю. Можете идти.

— Опять под арест, ваше сиятельство?

— Нет, к себе домой: ваш арест кончился.

— И экзамен тоже?

— И экзамен.

— Ваше сиятельство! Позвольте вам ручку поцеловать...

— Ну, ну, ну, ступайте.

— А сам уже смеется.

Итак, я опять юнкер, но уже заправский, не поддельный!

...Первым меня Муравьев поздравил.

— Одним только, — говорит, — вы князю не угодили: чересчур развязны с начальством; не сумеете, стало быть, держать в повиновении и низших. Поэтому вас зачислят в такой полк, где командир возьмет вас в ежовые рукавицы.

— Лишь бы не в пехоту! — вздохнул я. — Пеший конному не товарищ; я так свыкся с моим конем...

— Это мы вам как-нибудь еще устроим, — утешил меня Муравьев. — В штабе теперь не до вас: завтра мы идем на Альтенбург.

— Да ведь дорога туда занята еще французами?

— То-то, что они ее уже очистили. Под самым Альтенбургом граф Платов со своими донцами разбил в пух и прах генерала Лефев-

ра и забрал больше тысячи пленных.

— Вот бы к кому попасть!

— В Альтенбурге мы его, авось, еще заста-
нем.

* * *

Альтенбург, октября 1. Платов, говорят, здесь, но в штабе еще не показывался.

Здесьний герцогский замок на высокой го-
ре занят императорской квартирой; под го-
рой вся армия расположилась. Пробудем мы
тут, впрочем, весьма недолго. Шведы и прус-
саки перешли уже Эльбу; Блюхер разбил наго-
лову корпус Бертрана и захватил много ору-
дий; Чернышев зашел в тыл неприятелю и за-
владел Касселем, столицей короля вестфаль-
ского. Сам Наполеон, со всех сторон тесни-
мый, покинул Дрезден и стягивает свои вой-
ска к Лейпцигу. Там, по всей видимости, и
произойдет новое кровопролитное побоище.

* * *

Октября 2. Мечта моя сбылась! Муравьев
вчера же напомнил обо мне Волконскому; а
сегодня меня уже вызывают:

— Пожалуйте к князю.

— Есть у него кто?

— Есть: атаман войска донского, граф Платов. Вот оно!

Вошел. Чинный поклон тому и другому.

— Ба-ба-ба! — говорит Платов. — Да мы, братец, с тобой никак раньше уже виделись?

— Под Малоярославцем, ваше сиятельство.

— Верно. Швейцарские кантоны стихами зазубрил? А ну ее, Швейцарию! Иное дело, кабы все французские города и веси назубок знал. До Парижа сколько еще их брать придется!

— Так вы, граф, и в Париж метите? — спрашивает Волконский.

— Еще бы. Погостил Бонапартишка у нас целый месяц в Кремле, так как же нам не отдать ему визита в Лувре.

— Вашими бы устами да мед пить. У него собрано под Лейпцигом войска, слышно, до 250 тысяч.

— А у нас тут?

— У нас в Главной армии всего-навсего 120 тысяч. Необходимо прежде всего соединиться с Северной армией и с Силезскою...

— Чтобы общими силами раздавить гидру? Ясно, как Божий день!

— Вот видите, граф, вы сразу это поняли, а главнокомандующий наш, упрямый как козел, отстаивает свою диспозицию: не выжидая Бернадота и Блюхера, сосредоточить всю Главную армию меж двух рек: Плейсой и Эльстер, дабы отрезать, дескать, неприятелю отступление!

— Да ведь этак между реками, черт возьми, нам некуда будет и развернуться!

— То-то вот и есть. К тому же на Плейсе всего одна переправа — при Конневице. Пока мы будем выбираться оттуда, как из ловушки, Наполеон разгромит отдельно и Блюхера, и шведского принца.

— Да неужели государь наш по своей сердечной мягкости уступит опять Шварценбергу?

— Нет, его величество потребовал его сюда для личных объяснений. Нынче же фельдмаршал должен прибыть вместе с начальником своего штаба графом Радецким и генерал-квартирмейстером Лангенау.

В это время дверь быстро растворилась и вошел дежурный адъютант.

— Имею честь доложить: сейчас пожало-

вал князь Шварценберг.

— Ну, граф, не взыщите, — говорит Волконский. — Я должен его встретить.

— А этого молодца, значит, вы мне уступаете?

— Вам он, полагаю, более, чем нам, пригодится.

— Мне-то такие молодчики теперь весьма и весьма нужны. В последнем деле здесь, под Альтенбургом, у меня нескольких офицеров не стало. Ты, братец, меж свитских не слишком уж избаловался?

— Никак нет-с, ваше сиятельство; не из того теста сделан.

— И благо. Казак из пригоршни напьется, на ладони пообедает. А конь у тебя есть?

— Есть, и весьма даже изрядный.

— То-то же: казак без коня — что солдат без ружья. Как узнаешь только, что порешено в совещании с Шварценбергом, — на коня и ко мне...

...Прежде чем садиться на коня, запишу поскорей про совещание. Было оно очень бурное. Шварценберг ни на йоту не хотел изменить свою диспозицию. Но и государь остался

тверд.

— Войска вашего императора вы хотите непременно поставить между Плейсой и Эльстер? — сказал он. — Хорошо, ставьте. Перед вашим монархом вы один и в ответе. Что же до корпусов русских и прусских, то я безусловно требую, чтобы они теперь же были двинуты на Магдебург, а послезавтра с утра оттуда на Лейпциг. Шведский принц стоит еще у Галле и едва ли успеет к началу боя. К Блюхеру же будет сейчас отправлен курьер с приказанием идти на Лейпциг с севера.

— Так главное распоряжение боем ваше величество берете на сей раз уже на себя? — спросил Шварценберг. — Очень вам благодарен, что снимаете с меня ответственность.

А уж вся наша армия, да и прусская, как благодарны государю!

Тетрадь моя, вижу, к концу приходит. Буде Богу угодно после завтрашнего боя дни мои еще продлить — новую тетрадь себе заведу, и пойдет в ней моей жизни новая же полоса. На случай, однако, что дни мои сочтены, и мне откроются врата смертные, — сию первую тетрадь теперь же в пакет запечатаю с надпи-

сью, чтобы переслали ее в Толбуховку дорогой моей Ирише. Что же до меня самого, — Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя! Не вниди в суд с рабом Твоим!..

ВТОРАЯ ТЕТРАДЬ

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Первый день лейпцигской «битвы народов». — В «секрете» и услуга неприятелю. — Во вражеском стане и гостинец атаману

* * *

Лейпциг, октября 16. Смилоствивился Господь, жизнь мне вновь даровал, а на волоске ведь висела! Нынче солнышко опять выглянуло, и доктор мне на улицу выйти разрешил. Первым делом я, понятно, в книжную лавку за новой тетрадью и начинаю ее с великой «битвы народов», как прозвана немцами трехдневная баталия 4, 6 и 7 октября под Лейпцигом.

Начальный день, 4-го, якобы пролог к кровавой трагедии, решительным действием еще не ознаменовался. Одному только Блюхеру посчастливилось две тысячи пленных да с полсотни орудий захватить.

Главной армией на сей раз сам государь с

ближней горы руководил. Неприятельские ядра не раз до него долетали; но, несмотря на все упрашивания приближенных, он с места не сходил и со спокойствием, удивления достойным, отдавал распоряжения. Однажды французы чуть было центр наш не прорвали; но государь резервную артиллерию и гвардейский корпус туда направил, и атака была отбита. Деревни, лежавшие между нашей боевой линией и неприятельской, несколько раз из рук в руки переходили. Когда же к 6-ти часам вечера стемнело, и пальба сама собой прекратилась, мы все позиции наши удержали, да кое-где и вперед подвинулись. За то ведь и потери в этот день были преогромные: 30 тысяч человек!

Что до меня, то, будучи зачислен Платовым в казачью сотню, я на правом фланге союзников с донцами гарцевал, дабы не дать неприятелю в тыл нашим зайти. Когда же кругом все смолкло, и донцы у опушки тоже костры развели и котлы развесили, мой сотник Калашников меня к своему костру подзвал:

— Берите-ка бурку, молодой человек, да ло-

житесь тут у огня; чай, за день поумаялись?

— Да с чего, — говорю, — умяться было? В настоящей переделке и быть не пришлось.

— Напоследок нас, значит, к разгону приберегают. Казак донской — что карась озерной: икрян и солен. А вам, небось, чтобы пожутче было?

— Да, чтобы мороз по коже продирал, волос дыбом становился. Оно и жутко, и приятно.

— Ну, что ж, такую приятною жутью могу вам хоть сейчас услужить. Эй, Филиппенко! — урядника он окликнул, — здесь ты еще, не ушел?

— Здесь, ваше благородие.

— Вот юнкер наш в «секрет» с тобой просится. Да и флягу свою, смотри, не забудь.

— Как ее, матушку, забыть!

— То-то же. Ну, с Богом! — благословил меня сотник. — Крови вражеской хоть не напьетесь, так водочкой нашей россейской подкрепитесь: в осеннюю этакую ночку куда пользительна.

И отправился я с урядником и двумя простыми казаками в «секрет». «Секрет» же — не

что иное, как скрытый передовой караул для наблюдения за неприятелем.

Лежим мы так в яме, завернулись в бурки, вполголоса беседуем, да временами голову высовываем, по сторонам поглядываем. Октябрьская ночь, известно, — тьма кромешная; только в отдалении, версты полторы впереди, там и сям, огоньки неприятельские мерцают.

Поднял я опять голову, — что за притча! Словно тень чья-то колышется, огоньки впереди заслоняет.

— Братцы! — говорю шепотом, — никак кто к нам подбирается.

Встряхнулись те, брякнули ружьями. А тень по-французски жалобным голосом:

— Товарищи! Именем Христа Спасителя помогите...

— Стой, братцы, не стреляйте! — говорю. — Он за помощью к нам. Пусть подойдет.

Но Филиппенко, не внемля, хватя его за ноги, в яму к нам втащил, сам на грудь ему верхом насел.

— Ну, теперь пускай разговаривает.

А тот и не сопротивлялся, только охнул. И оружия-то при нем никакого.

— Ногу-то, товарищ, ногу не давите!

Ощупал я его ногу, теплая кровь по руке течет.

— Да вы ранены? — говорю.

— Ранен... Но не во мне дело. Не найдется ли у вас воды или вина глоток?

— Что вражий сын лопочет? — Филиппенко спрашивает.

Я объяснил. Он флягу из-за пазухи и к губам француза.

— Хошь и враг, а все же живой человек. Пей на здоровье, мосье.

А тот голову отворотил.

— Мне-то не нужно, — говорит.

— Так кому же? — говорю.

— Капитану моему: насмерть ранен, от жажды изнывает.

— И недалеко отсюда?

— Близко: шагов двести. До нашего лагеря донести его мне не в мочь: сам еле до вас дотащился. Слышу голоса, русскую речь. «Русские — народ добрый, — думаю себе, — не откажут».

Перевел я слова его моим казакам.

— Жалко, ведь, — говорю, — умирающего!

— Вестимо, жалко, — говорит Филиппенко. — Умиравший не враг уж нам. Флягу ему я, так и быть, всю бы хошь предоставил. Да сам-то вот человек этот только в ногу ранен; назад его отпустим, так не быть бы в ответе: своим нас не выдал бы.

— Ну, такой подлости, — говорю, — он не сделает. И передал французу про сомнения урядника.

— Неужели, — говорит, — вы можете думать, господа, что за доброту вашу я предательством отплачу? Клянусь вам седидами моей матери, что никому про вас не скажу.

Когда я об его клятве сообщил казакам, двое младших мою сторону приняли; урядник же мне напрямик объявил:

— Ваше благородие! Делайте, как знаете. Но ежели вы его отпустите, то я, — не погневитесь, — должен о том моему сотнику донести.

Одну секундочку я задумался, но не больше.

— Донеси, говорю, — всю ответственность я беру на себя. А теперь давай-ка сюда твою флягу.

И, взяв оную, передал французу.

— Ваше благородие! — говорит мне тут один из казаков. — Да что ж он задаром, что ли, флягу нашу унесет? Стой, мосье, погоди! Нет ли у тебя аржанов?

Француз его понял, отдал ему кошелек.

— А мне давай-ка свои сапоги, — говорит другой казак. — Мои больно износились. Э! Да у тебя бабьи сапожки. Куда они мне! Ступай с миром; да только вперед не попадайся.

Затем француз был отпущен и скрылся в темноте. Я стал было стыдить казаков за их жадность, но Филиппенко перебил меня:

— Э, ваше благородие! Враг — что гриб лесной: назвался груздем — полезай в кузов. А перед сотником вам все же ответ держать придётся.

— Да я, — говорю, — хоть сейчас пойду с тобой.

— Сейчас, так сейчас.

Пошли, пришли. Выслушал нас Калашников, головой покачал.

— Поступили вы, Пруденский, по-христиански, слова нет, — говорит. — Но что неприятель сам в руки вам дался, и вы его с миром

отпустили — умолчать я тоже не смею. Как-то еще на ваш поступок атаман наш взглянет? Да вот и он.

И точно, Платов ночной обезд делал. Подошел я, все по совести рассказал. И он меня тоже не одобрил, но по другой причине.

— Взять раненого в плен — чести мало, да и лишняя только обуза, — говорит. — Но от него мы могли бы кое-что выпытать о силах и замыслах неприятеля. «Казачи — глаза и уши армии», говорил великий Суворов. А ты, Пруденский, и глаза закрыл и уши, внял только голосу сердца. На первых же порах у нас оплошал!

Укором своим он меня как нагайкой хлестнул.

— Оплошку свою, ваше сиятельство, — говорю, — я теперь же хоть искуплю. У вас есть ведь пленные саксонцы?

— А что?

— Дозвольте мне перерядиться саксонским солдатом...

— А дальше что же?

— Под видом саксонца я пойду во французский лагерь, будто убежал из русского плена;

подслушаю их разговоры; после такой битвы у них разговоров, я чай, без конца...

— Положим, что так, но своим немецким языком ты сам себя выдашь; тебя и расстреляют.

— Не расстреляют, ваше сиятельство. Пойду я ведь не к немцам, а к французам; по-немецки они еще меньше меня смыслят. А вдобавок я на всяк случай еще глухим прикинусь.

— Так тебе они и поверят! Глухих и у саксонцев не берут в солдаты.

— Да оглох-то я уже на войне: от пальбы обе барабанные перепонки лопнули, да голова еще ядром контужена.

Усмехнулся атаман, сотнику подмигнул.

— Каков молодец? Ну, а обратно к нам как выберешься.

— Смотря по обстоятельствам, момент улучу. Ведь я же у них не пленным буду, а союзником-саксонцем: стеречь меня не станут. Пустите уж меня, ваше сиятельство!

— Казаком тоже явить себя хочет, — говорит Калашников. — Это, ваше сиятельство, как бы испытание на казака.

— Гм... Ну, что ж, сам ведь просится. Смелым Бог владеет.

Сказал и дальше поехал.

Десять минут спустя я в саксонского солдата преобразился. Калашников на прощанье меня крестным знамением осенил.

— Храни вас Бог!

Двинулся я к французам наугад, к сторожевым их огням. Небо в тучах, ни звездочки; кругом ни зги не видать. Иду все вперед, спотыкаюсь, падаю и опять вперед.

Вот и первые их костры. На минутку приостановился — дух перевести; а потом на костер со всех ног кинулся и на немецкий лад заорал благим матом:

— Козакен! Козакен!

Французы, что лежали у костра, понятно, вскочили, схватить меня хотят. А я дальше к следующему костру и все свое:

— Козакен! Козакен!

И здесь всех взбудоражил; но дался уж им в руки. Стали меня обшаривать. А я труса-беглеца из себя изображаю, со страхом на небывалую погоню назад озираюсь.

— Да ведь это вовсе не русский, да и не

пруссак, — толкуют они промеж себя. — Форма на нем саксонская; стало быть, из наших же союзников.

Стали меня допытывать: как я от казаков удрал. А я ничего будто не слышу, руками развожу, на уши свои, на лоб показываю: «Бум-бум!», сиречь, на оба уха оглох и в голову контужен.

Поняли.

— Да куда нам с ним, глухим тетеревом, среди ночи возиться! Поутру ужо сдадим саксонцам.

Порешив так, по местам своим опять разлеглись, мне тут же, на земле, местечко указали: «Ложись, мол, и нам спать не мешай».

— Данке шен, — говорю им, улегся в сторонке, плащом своим саксонским с головой укрылся; но сам под плащом уши наострил: не услышу ли чего подходящего?

Спервоначалу насчет «олуха немецкого» прохаживались, грубо, но метко.

— Да что, братцы, — говорит один, — мы вот над ним зубоскалим; а ведь они, саксонцы, как-никак нашу руку еще держат. Австрийцы нас уже предали; баварцы теперь то-

же к ним пристали...

— Да, тяжело императору приходится! — говорит другой. — До вчерашнего дня ведь из замка в Дюбене не трогался, все с маршалами совещался, убеждал их театр войны на правый берег Эльбы перекинуть и на Берлин идти.

— Прежде-то, — говорит третий, — он ни у кого совета не спрашивал, своим умом все решал.

— Прежде! Не те времена, брат, тогда были.

— А маршалы что же?

— Маршалы не поддались; в один голос: «Лучшее старое войско в снегах российских полегло»...

— Ну да! Мы, новобранцы, по-ихнему сантима медного уже не стоим.

— Видно, что так. Скрипели в Дюбене перьями, скрипели, до одного приказа только и доскрипелись: в развернутом фронте не в три шеренги строиться, а в две. Вот и строились этак сегодня, а что толку было?

— Ну, не говори. Австрийцев меж двух рек, как в клин, загнали, а генерала их Мерфель-

да, что чересчур вперед сунулся, в плен даже захватили. Да и у русских центр было уже прорвали. Сам император не сомневался в победе, к королю саксонскому

В Лейпциг адъютанта с вестью о том послал, чтобы во все колокола звонили...

— Ну, и дозвонились! Эх-эх! Не хвалить бы утра раньше вечера. Чем бы о Берлине думать, за Рейн бы к себе отойти — всего вернее.

Меня так и подмывало крикнуть: «Да, голубчики! Сидеть бы вам у себя дома за печкой, никто бы вас там не тронул. Ну, а теперь просим не прогневаться».

Наговорились, умолкли. А туман ночной, что река молочная, по земле стелется, все кругом заволакивает. Вон и палатки офицерские верхушками только белеют.

Улизнуть обратно к своим уже не мудрость. Да многое ли я узнал-то? Что у них не все благополучно: маршалы планов Наполеоновых уже не одобряют, солдаты ропщут...

И вспало мне тут на ум: а что, кабы трофею какую унести, знамя, что ли, полковое!

Туман меж тем до того уже сгустился, что

ножом хоть режь. Костра в десяти шагах не видать. Все кругом спят-храпят. Подождать еще с четверть часа...

И хорошо ведь сделал: идет патруль, караульных окликает. И дальше идет, дальше... Все опять стихло.

Пора умысел в действие произвести. Ползком к палаткам подбираюсь. У первой же палатки на земле двое, спина к спине, прикорнули: один с ружьем в охапке, — видно, караульный; другой без ружья, но меж ног знамя держит, а сам, как и караульный, от тумана нос в епанчу уткнул.

Господи, благослови!

Выдернул я у него знамя, самого ногой в грудь пнул и — наутек. Он тут же за мной с немалым криком:

— Держи его! Держи!

Да, как бы не так! От его крика и спавшие у костров встрепенулись. Один мне было дорогу загородил. Но я его с разбегу древком в грудь, — кубарем покатился, а я прыг через него и был таков. За мною хором голосят:

— Держи! Держи!

Стреляют вслед наугад. А я на земле растя-



Пруденский подкрадывается къ французскому знаменщику.

нулся; переждал, пока перестали, опять вско-
чил и уже бегом во все лопатки.

Вот и наши костры, и окрик:

— Кто идет?

— Свой! Не стреляй.

Гляжу: не донцы мои, а пехота. В тумане,
вишь, в сторону забрал. Обступили меня и
знамя мое французское, и самого меня в сак-
сонской форме оглядывают, допрашивают:
что да как?

Поведал я им, а потом от них к донцам и
до атамана самого добрался. Как узрел меня
со знаменем в руках:

— Эге! — говорит. — Да ты, что ж это, из
неприятельского лагеря, что ли, унес?

— Точно так-с. Вашему сиятельству гости-
нец. Да кое-чего и наслышался.

— Ну, рассказывай; послушаем.

Пересказал я ему от слова до слова, что
слышал.

— Все сие само по себе не важно, — гово-
рит Платов. — Важно, однако ж, что дух воин-
ский у них уже выдохся, что в вожде своем
возлюбленном изверились и по печке родной
вздыхают. А это на войне последнее уже дело.

Когда я затем поведал и о том, как знаменем завладел, по плечу он меня потрепал.

— Ну, молодчина! Из тебя, вижу, лихой казак еще выйдет.

Этим кончился для меня первый день Лейпцигской битвы... Рука, однако ж, от писанья онемела, да и в груди что-то опять неладно...

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Парламентер Наполеона. — Второй и третий день «битвы народов». — Польская пуля и чудодейственный пластырь. — Пленение Лористона и опала саксонского короля

* * *

Октября 18. Доктор брюзжит, пульсом моим недоволен.

— Пуля давно уже вынута, — говорит, — ребро заросло, все шло как по маслу. А теперь вдруг жар и хрип в груди! Что-нибудь вас, верно, взволновало? Не получили ли письма из дому?

— Письма не получал, но сам писал — не

письмо, а дневник.

— Ну, вот! Описывали «битву народов»?

— Да как же, доктор, не описать, когда сам в ней участвовал? И то один первый день только описал.

— Ох, уж эти папиенты! Пока я вам не позволю, не извольте брать перо в руки. Чего вы улыбаетесь?

— Зачем мне перо брать, коли карандашом пишу?

— Очень рад, что вы шутить уже можете. Но не станете меня слушаться, так сами на себя потом и пеняйте.

Делать нечего, придется-таки на себя на день, на другой узду наложить.

Октября 19. Жара у меня уже нет; со спокойной совестью, значит, могу продолжать.

Следующий день, 5-ое октября, пришелся на воскресенье; вдобавок с утра и до вечера лил дождь, как из ведра. Посему обе стороны воспользовались этим днем для отдыха к предстоящему новому бою. За весь день было одно лишь небольшое, но достохвальное дело: русские гусары из Силезской армии атаковали французскую кавалерию и, прогнав ее

за батареи, взяли пять орудий. Блюхер, быв очевидцем молодецкой атаки, подъехал к командиру гусаров, генералу Васильчикову, и в восторге его обнял.

Силы союзников должны были к 6-му числу еще преумножиться подходом корпуса Коллоредо и армий Беннигсена и шведского принца. Наполеону же сикурсу ждать было уже неоткуда, и вот, под вечер от него кто-то к нашему лагерю шажком едет и белым платком над головой машет. Подъехал, — что за диво: парламентар в австрийской форме! Австрийцы ведь нам теперь не враги, а союзники?

Оказалось — тот самый генерал Мерфельд, что накануне к французам в плен попался. Вот Наполеон его на честное слово к нам и отпустил, чтобы через него переговоры о мире завязать.

Час спустя смотрим — с поникшей головой обратно едет. Не выгорело!

После уже здесь, в Лейпциге, я от доктора слышал, что Наполеон готов был отказаться от всех своих притязаний на герцогство Варшавское, Голландию, Италию, Испанию и ган-

зейские города, с тем чтобы Франции были возвращены ее колонии, взятые англичанами.

— Император Александр вряд ли станет вмешиваться в это дело, — заметил Наполеону тогда же Мерфельд.

А Наполеон:

— Да мы с ним уж сговоримся. Пускай только пришлет ко мне уполномоченного для окончательных переговоров. Меня, вот, все обвиняют, что я хочу не мира, а перемирия. Но это неправда! А от мира выиграло бы все человечество. Я отступлю, так и быть, за Залу; но русские и пруссаки пускай отойдут за Эльбу, а австрийцы — в свою Богемию. Пострадала ведь всего больше Саксония; так она пусть останется нейтральной.

Мерфельд на то возразил, что отступить союзники теперь не захотят, ибо рассчитывают, что сама французская армия до зимы еще за Рейн отойдет.

От одной мысли о сем Наполеон гневом воспылал.

— Чтобы я отступил?!.. — воскликнул. — Для этого мне пришлось бы проиграть сраже-

ние. Случиться это может, но пока этого еще нет, да и не будет! Передайте обоим императорам: Александру и Францу мои слова, которые, надеюсь, возбудят в них красноречивые воспоминания.

В неукротенной еще надменности своей он намекал, вишь, на прежние свои блистательные победы над австрийскими и русскими войсками.

Весь разговор свой с Наполеоном Мерфельд дословно передал князю Шварценбергу. Но крылья у того были уже подрезаны: все распоряжения к новому решительному сражению делались самолично нашим государем. Доложил Шварценберг о предложениях Наполеона, но государь их наотрез отвергнул, и Мерфельд отъехал ни с чем.

И случилось то, чего втайне, видно, так опасался сам Наполеон: битва, завязавшаяся вновь 6-го числа и продолжавшаяся еще 7-го, окончилась для него поражением, да еще каким!

После ливня накануне и ночного тумана задувший к утру 6-го числа резкий северный ветер разогнал туман, очистил небо, и день

выдался холодный, но ясный, солнечный. В 6-м часу ударили «подъем», а в 7-м началась уже пальба.

Трехсоттысячная армия союзников обложила неприятеля полукругом с севера, востока и юга; а потому Наполеон, не имея возможности со своей армией, почти вдвое меньшей, принять сражение по всей линии, снялся ночью со вчерашних позиций и отошел к самому Лейпцигу. Союзники не замедлили, конечно, занять оставленные им позиции; по мере же того как полукруг их стягивался все ближе к Лейпцигу, три союзные монарха также двигались вперед с одного возвышения на другое, пока, наконец, не въехали на тот самый холм, с коего 4-го числа наблюдал за боем Наполеон.

Описывать в подробностях ход боя — дело уж не мое, а историков и стратегов. Про 6-ое число скажу одно: что в 3-м часу дня к государю прискакал вестовщик с донесением, что три кавалерийских полка вюртембергцев на нашу сторону перешли; а еще час спустя сам командующий саксонской армией генерал Россель подъехал с просьбой — всю его ар-

мию в свое распоряжение принять и разрешить ему также на французов ударить. Разрешение, само собой, было дано.

Но дни в октябре месяце коротки, и солнце к закату уже склонялось. Так занятие ближайших к Лейпцигу селений и штурм самого города поневоле до другого дня отложить пришлось.

А нас, донцов, все еще в резерве томили! Платов нас утешал:

— Завтра, погодите, наш праздник. Честь добить Бонапартишка остается за нами.

И пришло «завтра».

Сам город Лейпциг в ровной местности расположен и никакими крепостными укреплениями не защищен. Посему надо было думать, что неприятель попытается наш натиск отразить в открытом поле.

И что же? Когда в 9-м часу утра ночной туман разошелся, очам нашим не грозная вражья рать представилась, а открытая равнина, мертвыми телами усеянная, подбитыми орудиями, лафетами да боевыми снарядами! Воспользовавшись ночной темнотой, французы внутрь города укрылись. Только в аллеях

между предместьями и городом выставлены были батареи их арьергарда, коим командовали, как потом оказалось, маршал Макдональд и храбрый вождь поляков князь Понятовский, за два дня назад тоже в маршалы произведенный.

Тысячи сердец радостно забились, когда тут был объявлен общий штурм. Но еще до начала оногo государь объехал ряды войск, всячески их ободряя и прося быть великодушными к побежденным, а паче всего щадить мирных жителей, в распре правительств ни в чем не повинных.

Засим под гром орудий вся союзная армия с развернутыми знаменами, с музыкой и барабанным боем, с разных сторон пошла на приступ. В аллеях французские пушки штурмующих картечью осыпали. Но уже час спустя они были в наших руках, и союзники ворвались в город.

Тут настал и наш черед — донцов.

— Ура!

Буйному урагану подобно, сметали мы с пути нашего всякую живую тварь двуногую и четвероногую из одной улицы в другую, в

третью, в десятую. Удалая польская конница Понятовского вздумала было дать нам отпор. Но не тут-то было! Как задержать мчащуюся вихрем казачью громаду, оцетинившуюся пиками? И в один момент передних мы смяли, а остальные повернули коней и ускакали без оглядки. На беду их, однако, единственный мост через р. Эльстер отступающими французами был уже взорван. Оставалось спасаться через глубокую быстротечную реку, хошь не хошь, вплавь. Сам Понятовский пример своим показал и первым с берега в воду коня пришпорил. За ним вслед и другие, как стадо баранов за вожаком; только брызги полетели. Но при такой спешке задние беглецы, на передних напирая, на берегу скучились и сами себя под пики и сабли наши подставляли. Так и под мою саблю офицер один угодил; от удара моего в седле покачнулся, но вдруг, обернувшись, в упор в меня из пистолета пальнул.

Боли я никакой не ощутил; только в грудь меня что-то как кулаком толкнуло, рука моя с саблей сама собой опустилась, и в очах свет померкнул... Дальше ничего не помню.

Пришел я в себя уже в Лейпцигском госпитале от нестерпимой боли и громко вскрикнул.

— Ага! Очнулся, — говорит чей-то незнакомый голос. Гляжу: сам я на столе распростерт, а по сторонам двое стоят с засученными руками и в белых фартуках, забрызганных кровью: доктор и фельдшер.

— Что это было со мною? — спрашиваю я доктора.

— А вот что, — говорит он и пулю мне предъявляет. — В ребро вам ударила, да в сторону уклонившись, в боку под кожей застряла. Ребро сломано, но недели через две-три срастется крепче прежнего.

— Через две-три недели! Да ведь армия наша тем временем уйдет...

— И теперь уже частями уходит, чтобы не дать передохнуть Наполеону.

— Да этак мне своих догонять еще придется!

— Не иначе. Благодарите Бога, что пуля отскочила влево от ребра, а не вправо; тогда бы вам — аминь. Ну, что, все больно?

— Больно, но уже не так: глухо, как зуб, но-

ет. Скажите, доктор: отчего я не почувствовал никакой боли, когда пуля вошла мне в грудь?

— Оттого, что в пылу битвы вы были разгорячены. Только когда кровь в жилах несколько уже остынет и нервы успокоятся, рана дает себя чувствовать. Теперь мы вас переложим на кровать, и извольте лежать тихо, не шевелиться, старайтесь ни о чем не думать и заснуть.

Вскоре я, действительно, заснул и с перерывами от ноющей раны до утра проспал. Потру же меня Муравьев навестил.

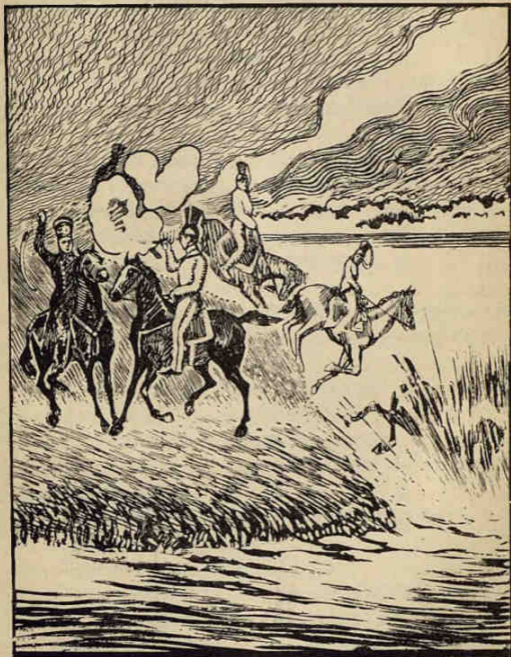
— Доктор сперва, — говорит, — и впустить меня не хотел. Смягчился он только тогда, когда узнал, что я вам на рану такой пластырь несую, какого ни один врач в мире прописать не может.

— Какой же, — говорю, — пластырь?

— А вот какой.

И подает мне солдатский георгиевский крест. От радости я привскочил бы на постели, не удержи меня Муравьев насильно за плечи.

— Тише, тигле! Этак и пластырь вам только повредит. Сам Платов выпросил у госуда-



Польскій отрядъ спасается черезъ р. Эльстеръ.

ря разрешение переслать вам вашу награду за взятое у французов знамя еще до составления общих наградных списков.

— И Сагайдачному тоже дадут Георгия?

— За что?

— Да он тоже был в огне...

— Ну, и получит петличного Станислава с мечами в порядке постепенности. Вообще наград масса, потому что победа была полная, притом уже не над каким-нибудь маршалом, а над самим Наполеоном!

— И он, значит, бежит?

— Бежит без оглядки. Но любопытнее всего, как сдался нам в плен Лористон. Уже по окончании битвы генерал Эммануэль с небольшим эскортом объезжал наши аванпосты. Вдруг он видит, что по обломкам взорванного моста через Эльстер перебираются два француза, ведя за собой в поводу своих коней. Он подскакал к ним:

— Стой! Назад! Не то вас сейчас расстреляют. Тем ничего не оставалось, как повиноваться. Судя по шляпе с плюмажем, один из них был генерал.

— Вашу шпагу, генерал! — говорит Эмма-

нуэль. Тот с важностью распахнул плащ: вся грудь его была увешана орденами.

— Я, — говорит, — Лористон!

— Весьма приятно. Это вы ведь под Москвою приезжали к покойному нашему фельд-маршалу Кутузову от вашего императора с предложением заключить мир?

— Я...

— Теперь до мира не так уже далеко. А шпагу вашу все-таки пожалуйста.

Едет Эммануэль со своими двумя пленниками в город и в аллее предместья натывается на целый отряд французов, которые Бог весть где еще замешкались. Было их четыре сотни при 50-ти офицерах; в эскорте же генерала Эммануэля всего-навсего 12 человек. Но за деревьями да в сумерках французам не видно было, что наших так мало.

— Кладите оружие! — крикнул им Эммануэль. Те стали совещаться.

— Сейчас же кладите оружие! Не то ни один из вас не уйдет живым! — крикнул он еще громче и взмахнул саблей, как бы собираясь вести своих в атаку.

Раздумывать уже не приходилось. Солдаты

побросали свои ружья, а командовавший ими майор и другие офицеры отдали свои шпаги.

— Идите вперед! Мы поедem за вами.

— Позвольте, Николай Николаич, — перебил я Муравьева, — а Лористон-то чего молчал, не предупредил своих?

— В том-то и дело, что, попав в плен, он совсем духом упал, ничего кругом не видел и не слышал. Потом уже, узнав, что при нем 400 слишком человек французов сдалось маленькой кучке русских, он за голову схватился, проклинал свое беспамятство. Пришел он несколько в себя только тогда, когда предстал перед нашим государем. Обошелся с ним государь весьма ласково и приказал выдать ему из казны займы 500 червонцев, чтобы он до отсылки в Россию мог обзавестись здесь, в Лейпциге, всем, чем нужно, на дорогу.

— А что Понятовский? Удалось ему с его отрядом переплыть Эльстер?

— Нет, их понесло по теченью; течение этой реки ведь очень быстрое; да вдогонку им был пущен еще град пуль. Немногие добрались до другого берега. Сам же Понятовский с конем скрылся под водой и уже не выплыл.

Хоть и враг был нам, а рыцарь. Упокой Господь его душу! Кого тоже жаль, признаться, так старика-короля саксонского.

— А что с ним?

— Да ведь он до последнего дня не имел духу порвать с Наполеоном. Подданные же его давно уже не разделяли его чувств, и при въезде нашего государя в Лейпциг жители встретили его «виватами». Когда тут союзные монархи сошли с коней на дворцовой площади, первым их приветствовал шведский принц Бернадотт. Государь его дружески обнял и благодарил. А на лестнице дворца среди батальона своей лейб-гвардии стоял несчастный король с непокрытой головой. Бернадотт указал на него:

— Вот, ваше величество, король. Он желал бы также засвидетельствовать вам свое почтение.

Но добрейший государь наш остался на сей раз неумолим. Точно не слыша, он спросил:

— А где королева саксонская?

— Она ожидает ваше величество на верху лестницы.

— Так пойдёмте к королеве.

Королевские гвардейцы отдали честь государю, король — низкий поклон, но государь, не взглянув даже на короля, точно его тут и не было, поднялся по лестнице к королеве.

— Да чего же ещё, — говорю, — мог ожидать этот союзник нашего заклятого врага? И что будет с ним теперь?

— До окончания кампании его отвезут, говорят, в Берлин.

* * *

Октября 20. К законченному мною вчера рассказу о «битве народов» прибавлю ещё пару слов. Уж коли меня, малую пичужку, наградой не обошли, то крупную птицу: орлов всяких и соколов, индюков и павлинов, наградили тем паче: Беннигсен и Барклай-де-Толли сделаны графами; Милорадович и Витгенштейн, имевшие уже сей титул, получили: первый — Андреевскую звезду, второй — золотую саблю с лаврами и алмазами. Из иноземных вождей Блюхеру по его заслугам Георгий 1-й степени пожалован, а князя Шварценберга великодушный государь наш ещё на поле битвы кавалером того же высше-

го русского ордена поздравил: благо, что как главнокомандующий во время боя хоть не препятствовал над Наполеоном победу одержать.

С опалой здешнего короля наш русский князь Репнин вице-королем и генерал-губернатором королевства Саксонского назначен. Первым его делом было запрет наложить на фальшивые русские ассигнации, коих Наполеон в прошлом году на несколько миллионов выпустил. Публикацией всем и каждому объявлено, что все находящиеся в обращении таковые ассигнации должны быть ему, генерал-губернатору, немедленно представлены с предварением, что за утайку оных виновные будут сосланы в Сибирь и оштрафованы на сумму в пять раз большую против утаенной.

Союзная армия преследует теперь разбитого неприятеля. Главная квартира перенесена в Веймар, куда Муравьев и Сагайдачный тоже отбыли. Остаются здесь, кроме гарнизона да генерал-губернаторской канцелярии, одни раненные; из нашего отряда только я да хорунжий Порошин; при нас два казака для сопровождения до армии. Я-то хоть сейчас бы дви-

нулся, но Порошин просит не бросать его. Бедняга весьма в нехорошем положении: ногу ему ниже колена осколком повредило. Когда-то еще поправится?

* * *

Октября 21. От Муравьева из Веймара при коротенькой записке получил высочайший приказ:

«За отличие при битве под Лейпцигом 4, 6 и 7 октября 1813 года производятся... хорунжий Павел Порошин в сотники... юнкер Андрей Пруденский в хорунжий»...

Бегу к Порошину, показываю приказ:

— Честь имеем поздравить г-на сотника!

В первый раз за все время улыбнулся счастливой улыбкой.

— И вас тоже, голубчик, — говорит, — за знамя — Георгия, а за битву — чин офицерский своим чередом, — какво! Ну, теперь никакие доктора нас здесь не удержат. Вас-то ведь уже отпускают?

— Отпускают, — говорю. — Но нога у вас, Павел Игнатьич, еще в лубке; ехать верхом вам и думать нечего...

— В коляске поеду.

— Да коляски теперь в целом Лейпциге, слышно, не достать: все забраны Главной армией.

— Ну, так телега какая ни на есть найдется. Уж вы, Андрей Серапионыч не оставьте меня, поищите. А я вам за то подарок поднесу.

— Подарок?

— Да, старый мундир мой: по новой должности я и мундир себе новый закажу. Раздобудьте-ка мне также портного: чтобы к завтрашнему утру сшил; никаких денег не пожалю.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Форшпан. — «Германские Афины» и олимпиец Гёте. — Вартбург и келья Лютера. — «Человеческая жизнь в звериных образах». — Франкфурт-на-Майне. — «Удачная» операция

* * *

Наумбург, октября 23. Милый человек — Порошин, но и хлопот же с ним! Портного я ему с немалым трудом раздобыл, и к утру мундир его был готов. Что же до экипажа, то не токмо коляски, но и телеги сперва нигде допроситься не мог.

Один из наших двух казаков, Маслов, меня уже надоумил:

— Вы бы, ваше благородие, к бургомистру пошли, да по-нашему его, по-казацки отчитали: «Такой ты, мол, да сякой! Чтоб была коляска, хоть из земли выкопай!»

И пошел я к бургомистру.

Видит он, что перед ним юнкер, ну, и важность на себя напустил, стула даже не предложил.

— Это дело, — говорит, — меня не касается. Как топну я тут ногой, как гаркну:

— Крейцшокдоннер-элемент! Мы за вас жизни своей не жалели, а вы раненому офицеру экипажа дать не хотите?!

Побледнел он, тоном ниже взял:

— Не волнуйтесь, г-н офицер, пожалуйста, не волнуйтесь. Но сами же вы ведь убедились, что все экипажи в городе, и господские, и извозчичьи, разобраны...

— Так дайте нам, черт побери, хоть подводу, форшпан!

И обеими уж ногами затопал, саблей загремел, да еще с полдюжины наших русских, крепких словечек в лицо ему пустил. Возымело действие: стал у меня шелковый, другую песню затянул:

— Ах, вам форшпан? На форшпане вашему раненому приятелю и лежать будет куда удобнее, чем в коляске.

Не прошло и часа времени, как у нашего дома стоял форшпан — длиннейшая тележища, набитая сеном, на котором мы оба с Порошиным, как на пуховике, разлеглись; а наши два казака вершниками за нами следовали, с

конями нашими в поводу.

Однако от проходивших до нас тем же трактом конницы и артиллерии дорога вконец была избита и изрыта; а посему как упруго, как мягко ни было сено, всякий толчок в ноге Порошина адской болью отзывался, и мы поневоле в каждой, почитай, деревеньке привал делали.

* * *

Веймар, октября 27. Доползли! Хозяин гостиницы о приезде тяжелораненого русского офицера в велико-герцогский дворец знать дал, и оттуда в тот же час лейб-хирург фон Функ пожаловал.

— Герцогиня наша, — говорит, — а ваша русская принцесса Мария Павловна меня к вам прислала. Позвольте осмотреть вашу ногу.

Снял у Порошина лубок.

— Ай-ай! — говорит. — От дорожной тряски бинт с места сдвинуло, кость неправильно срастается, и рана сильно воспалилась. Придется положить вас в наш госпиталь...

Перевел я слова его Порошину. Тот и слышать не хочет.

— Скажите ему, что мы — казаки, а казаку отставать от своего атамана не полагается.

— Уж этот атаман ваш! — говорит лейб-хирург. — Сколько бесчинств у нас в городе натворил! А еще граф!

— Кто? — говорю. — Граф Платов?

— Нет, фамилия у него другая.

— Уж не Мамонов ли?

— Вот, вот, Мамонов.

— Так тот ведь вовсе не атаман, а просто командир своего собственного казачьего полка из крепостных и добровольцев.

— То-то они и вольничали. А Веймар наш — мирный храм муз, «Германские Афины». Герцог наш Карл-Август вокруг себя целый Олимп собрал.

Вспомнились мне тут «Письма русского путешественника», коими я в бурсе еще зачитывался.

— Наш русский писатель Карамзин, — говорю, — лет двадцать назад тоже здесь, в Веймаре, побывал, с вашими знаменитостями виделся, беседовал...

Глубоко вздохнул лейб-хирург.

— С тех пор, — говорит, — один лишь

столп у нас остался — Гёте. Когда жив был еще столь же великий Шиллер, у поклонников их как-то спор зашел, кто гением выше: Гёте или Шиллер? — «Полноте, господа, — сказал им Гёте. — Будьте довольны, что есть у вас два таких молодца (цвей зольхе Керле), как Шиллер да Гёте». И вот уже восемь лет, что нет Шиллера. Dei minores тоже редуют: еще до него сошел в гроб Гердер; в январе этого года похоронили Виланда. Один по-прежнему несокрушим — Юпитер-Гёте...

— Вот на кого бы взглянуть!

— Увидеть вам его не так-то легко: он ведь не только великий писатель и ученый, но и правая рука нашего герцога, друг его и первый министр; целый день занят: либо во дворце, либо у себя дома.

* * *

Ноября 2. В окне книжной лавки я загляделся на портрет Гёте: старик-красавец, с осанкой поистине олимпийской. Иду дальше, и вдруг он сам мне навстречу собственной персоной. Как сверкнул на меня своим огненным взглядом, невольно я руку к киверу приложил; а он величественно этак, но милости-

во головой кивнул и далее проследовал. Обернулся я, гляжу ему вслед; другие прохожие все ему тоже кланяются. Одного спрашиваю:

— Ведь это Гёте?

— Господин тайный советник фон Гёте! — поправил он меня с укоризной.

Эйзенах, ноября 10. Застигнутые в дороге ненастьем, вчера к ночи только сюда дотащились, а Порошин вдобавок еще изрядную простуду получил. Поутру здешнего доктора позвали; переменял перевязку, микстуру от лихорадки и анисовых капель от кашля прописал; но на мой вопрос о положении больного:

— Будь дело еще к лету, — говорит, — так можно было бы надеяться, а к зиме...

И, не досказав, руками развел. Все втуне, значит!

Мамонов со своей ордой и здесь по себе дурную память оставил. Наш хозяин как будто удивлен, что мы, такие же казаки, не бьем посуды и зеркал, не бранимся, не деремся, ничего не берем силой и за все чистыми деньгами расплачиваемся. Какое счастье, право, что я к Мамонову не попал!

* * *

Ноября 11. Редкий день, небывалый! Со-
всем новый, неведомый мир мне открылся.

За ночь подморозило, а утром и солнышко
показалось. Приходит хозяин наш, герр Мюл-
лер, говорит мне:

— Что это г-н лейтенант в четырех стенах
все сидит! Хоть бы на нашу Вартбург подня-
лись.

— На какую такую, — говорю, — Вартбург?

— Как! Помилуйте! Да ведь на Вартбурге
Мартин Лютер всю Библию на немецкий
язык перевел. Показывают там и келью, где
он 10 месяцев работал и где его дьявол иску-
шал. До сих пор на стене чернильное пятно
сохранилось, когда Лютер в искуителя чер-
нильницей пустил...

Убедил! Как не посмотреть на такое чудо
чудное.

— Да найду ли я туда дорогу? — говорю.

— А я дам г-ну лейтенанту с собой маль-
чишку. И пошли мы с мальчишкой.

Замок архидревний, времен рыцарских, и
стоит он на горе прекрутой и превысокой.
Вид оттуда на Эйзенах и окрестные горы, на-
до признать, восхитительный. Когда нас

подъемным мостом через глубокий ров седовласый сторож во внутренний двор впустил, благоговейный трепет меня невольно объял. И повел меня сторож по всем палатам замка, и каждой объяснение давал.

Вот палата, где рыцари, в крестовый поход отправляясь, клятвой обменивались — стоять друг за друга в бою с нехристями.

Вот зал певцов, где шесть веков назад славные «певцы любви» — «миннезенгеры» — перед ландграфом тюрингенским в песнях состязались.

Вот покои ландграфини Елизаветы, которая за свои истинно христианские дела римскою церковью к лику святых сопричислена: убогих и нищих она пои-да-кормила, одевала, заключенных утешала, за больными ходила, умерших хоронила...

И, переходя этак из палаты в палату, слушая рассказы старика-сторожа про времена стародавние, я всеми помыслами своими в те времена перенесся, деяниями тех людей проникался, что жили здесь некогда совсем иною жизнью, чем мы, более романтическую и более, пожалуй, праведною: соблазну меньше было.

Наконец, вот и лютерова келья: на стене портрет его — кисти знаменитого, говорят, Луки Кранаха; собственная простая деревянная кровать Лютера; книжный шкаф, от времени почерневший, стол, за коим он работал, а на столе — Священное Писание, им переведенное, в толстом переплете с медными застежками. Все сие солнечным светом залито, проникающим в круглые оконные стеклышки.

А вот посередине выбеленной стены и то чернильное пятно, про которое говорил мне герр Мюллер. Подхожу ближе, разглядываю.

— Да ведь тут, — говорю, — как будто ножом выколуплено?

— Все это господа англичане! — ворчит сторож. — Только отвернешься, а они уже перочинный ножик из кармана.

При выходе из замка он мне за малую мзду печатный листок предложил — точный снимок с «человеческой жизни в звериных образах», начертанных на стене одной проходной галереи. Мужской пол на оном в виде четвероногих животных представлен, женский — в виде птиц и иных крылатых. Так, мужчина в

10 лет, оказывается, теленок, в 20 — козел, в 30 — бык, в 40 — лев, в 50 — лиса, в 60 — волк, в 70 — пес, в 80 — кот, в 90 — осел, а в 100 лет — воловья мертвая голова. Женщина же в 10 лет цыпленок, в 20 — голубка, в 30 — сорока, в 40 — пава, в 50 — наседка, в 60 — гусыня, в 70 — коршун, в 80 — сова, в 90 — летучая мышь, а в 100 лет — птичья мертвая голова.

В гостиницу вернувшись, Порошину показал.

— Средневековое острословие, — говорит. — Грубовато, но не без соли и перца.

* * *

Ноября 13. За окнами опять снег крутится. Бедный Порошин стонет и пуще кашляет. Тоска и грусть!

* * *

Франкфурт-на-Майне, ноября 20. Еле-еле ведь несчастного спутника своего сюда довез и тотчас же с рук на руки хирургам сдал. Говорят: гангрена; ногу выше колена отпилить придется. Помилуй Бог!

* * *

Ноября 21. Семеновцы полковой праздник свой справляют. Шеф полка, император ав-

стрийский, нарочито по сему случаю из главной своей квартиры, г. Дармштадта, прибыл; отстоял обедню, а потом, на параде, полк церемониальным маршем мимо нашего государя провел. Собственные его цесарские полки точно на маскарад разрядились: парадные мундиры всевозможных цветов, панталоны красные, гусарские сапожки малюсенькие, а шляпы с вавилонскую башню.

Зрителей обоего пола на параде было, как всегда, великое множество. Но императора Франца ни одна душа не приветствовала; нашему же царю из всех уст «виваты» неслись. Семеновским офицерам во дворце обед был предложен, а солдатам водка поднесена и по рублю на человека.

Сагайдачный да и все штабные офицеры Франкфуртом не нахвалятся: удовольствий хоть отбавляй. Театр небольшой, но превосходный. В казино есть газеты, карты, бильярд. Много в городе богатых семейных домов, где русских офицеров с отверстыми объятиями принимают. Дома больше все купеческие, но хозяйские дочери образованные, на фортепианах играют, патриотические песни

распевают.

— За этот месяц, что мы во Франкфурте, — говорил мне Сеня, — телом и духом мы все опять освежились. Армия же наша на Рейне прохлаждается.

— Да когда же, — говорю, — дальше двинемся?

— Государь и то все настаивает, чтобы поскорее довершить освобождение Европы. Но Меттсрних (прах бы его побрал!) бросил опять нам палку в колеса: в Париж к Наполеону с новыми условиями мира отправил бывшего австрийского посланника при веймарском Дворе, барона Сент-Этьена, которого мы взяли в плен, а теперь нарочно вызвали для этого из Богемии... Здесь, во Франкфурте, как-то забываешь даже, что война еще не кончилась. Вот и на сегодня у меня взят билет в театр; да получил опять приглашение в одно премилое семейство. Не хочешь ли мой билет? Дают «Фауста» Гёте.

Я, понятно, не отказался.

... Сейчас из театра. В себя еще придти не могу. Венский актер Медер, игравший Фауста, загримировался самим Гёте и играл так, что

мне, право, сдавалось, будто передо мною воочию сам Гёте, только в молодые годы. А Шредер — Гретхен! Чистая, невинная, как... ну, как моя Ириша... Господи Боже ты мой! Охрани мою Гретхен-Иришу!..

* * *

Ноября 22. Операцию Порошину назначили на сей день; но на два дня опять отложили: сердце-де чересчур слабое; надо сперва подкрепить больного. Да чем его подкрепишь: на ладан дышит!

* * *

Ноября 23. От виртембергского короля жалоба пришла на мамоновцев: не в меру уж озорничают и неистовствуют. Решили было их обуздать, для чего командировать туда какого-нибудь свитского; но возиться с их шалым командиром никому тоже не охота, и все отлынивают. Сегодня приходит ко мне Хомутов.

— Ну, Пруденский, — говорит, — я к вам вот с чем: меня посылают вперед к Карлсруэ заготавливать квартиры...

— Так наконец-то тронемся отсюда?

— Да, на будущей неделе. Но мне, кроме то-

го, поручено завернуть еще в сторону, чтобы завести бумагу к графу Дмитриеву-Мамонову. А меня это не устраивает. Вы же сами просились сначала в полк к этому Мамонову; так вам должно быть небезынтересно с ним познакомиться?

— И весьма, — говорю, — интересно.

— Ну, вот. Так я предложу Волконскому послать вас к нему, вместо меня. Исполните успешно поручение, так назначат вас и настоящим ординарцем. А в Карлсруэ мы с вами съедемся.

* * *

Ноября 25. Сейчас только с кладбища: бедному Порошину последний долг отдал. После операции он и часа не выжил. Господа хирурги своей удачной операцией похваляются, да сердце, вишь, не выдержало. Ох, уж эти удачные операции! И сколько ведь таких непризнанных героев жизнь свою положили — кто под пулей, кто под пилой!

Бумага от штаба к Мамонову у меня уже в кармане. Моих двух донцов мне разрешено взять с собой. Ни одного лишнего часа не проведу здесь, во Франкфурте...



ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

*Гейдельбергская бочка. — Сказание о
вейнсбергских верных женах*

* * *

Гейдельберг, ноября 27. Тут переночуем: и коням нашим, и самим нам передохнуть надо.

Места живописные: горы, леса дремучие; но все теперь снежным саваном покрыто и тоску смертельную усугубляет, — не глядел бы!

Прибыли мы сюда при закате солнца. Раз-

валины замка на горном склоне в лучах зари вечерней огнем горели. Картина! Но взирал я на нее совсем равнодушно. Когда потом ужин себе подать велел да бутылку рейнвейна, пировавшие в той же столовой студенты за царя Александра тост мне предложили. Я с великим удовольствием, конечно, чокнулся с каждым; но на вопрос их: долго ль у них в Гейдельберге пробуду, отвечал, что на рассвете опять в путь-дорогу.

— Да вы, — говорят, — и наверх к замку нашему еще не поднимались?

— Издали, — говорю, — на него уже нагладелся.

— Но знаменитой бочки там не видели?

— Какой такой бочки?

— Неужто вы до сих пор о ней так и не слышали? Ну, да вы ведь с того края света! Бочка единственная в своем роде на всем земном шаре: 283 тысячи бутылок в себе вмещает.

Много еще чего порассказали мне господа студенты и про замок, сожженный некогда французами, и про свой университет, старейший во всей Германии, и про обычаи свои

студенческие, прелюбопытные, но в ином и ребячливые до глупости, но не искусили. Расспросил я их еще про маршрут свой через Гейльбронн на Лудвигсбург, где в последний раз мамоновцы неистовствовали, и пожелал им доброй ночи.

* * *

Село Вейнсберг, ноября 29. Берегом р. Неккар добрались мы до Гейльбронна без всяких приключений. Отогрелись и дальше двинулись. Проезжаем здешним селом, и тут-то вот, на постоялом дворе, такое нас приключение постигло, какого и во французских романах не вычитать.

— Смотрите-ка, ваше благородие, — говорит мне один из моих казаков, — какую на вывеске бочку намалевали!

И точно, бочка на диво: вся виноградными лозами обвитая, по лозам вверх карлики карабкаются, а внизу подпись:

«Zum s us sen heidelberger Fass».

Так вот она, знаменитая бочка!

— А что там подписано? — спрашивает опять казак.

— По-нашему, — говорю, — это значит: «Сладкая гейдельбергская бочка».

— Так как же нам, ваше благородие, такой сладости не испробовать?

Въезжаем во двор. У крыльца хозяин гостя провожает. Гость молодой, но тщедушный, в санях уже сидит, а хозяин, поперек себя толще, по руке его на прощание хлопает. Как узрели нас, в один голос вскрикнули:

— Козакен!

И лошадка гостя словно поняла это страшное слово, в сторону шарахнулась. Подъехал я и успокаиваю:

— Нам, г-н хозяин, — говорю, — вина бы только из той вон бочки отведать, что на вывеске у вас так заманчиво намалевана.

Глядит он мне в лицо, словно изучает; должно быть, не так уж страшен показался.

— Сейчас, — говорит, — к вашим услугам. И снова к молодому гостю повернулся:

— Так, стало быть, до вторника.

— А пастор противиться не станет? — спрашивает гость.

— Пастор? Да он у меня в этом вот кулаке.

— Ну, так до свиданья.

Прошел я с хозяином в дом, сбросил бурку, за стол уселся. В тепле с мороза голод пронял.

— Кстати, — говорю, — не накормите ли и обедом? Он за ухом почесывает.

— У нас, г-н офицер, — говорит, — для вашей милости настоящего обеда не найдется: не гостиница — постоялый двор. В Лудвигсбурге — так там две прекрасные гостиницы...

— Да вы, — говорю, — не сомневайтесь: за все заплачу.

И для наглядности из кошелька на стол золото свое высыпал. У толстяка от жадности глаза на лоб полезли.

— О, г-н барон!.. Ведь, ваша милость, верно, барон, а то, пожалуй, и граф или принц?

Меня смех разобрал. Но, не показывая виду, я, по примеру шутника Сени, хотел тоже раз над немчурой потешиться.

— Нет, — говорю, — не принц я, даже не граф, а просто-напросто барон.

— Но все-таки, значит, помещик?

— Да какой же барон не помещик? Поместье у меня, впрочем, не такое уж крупное; всего тридцать квадратных миль.

— Доннерветтер! Да у нас, в Германии,

иное княжество в половину меньше. И рогатый скот, конечно, держите?

— Коров-то немного: полтораста голов. Зато овец тонкорунных три тысячи; а на конском ааводе сотня кровных рысаков и скакунов.

Не знаю, до чего бы я еще доврался, не оборви он полета моей фантазии зычным окриком:

— Лотте! Ханс! Саперлот! Куда вы опять запропастились?

Первою явилась Лотте, дочь хозяйская, лицом весьма приятная... уже по некоторому сходству с моей Иришей... Но губки у нее были надуты, глазки заплаканы.

— Ну, ну, ну, — прикрикнул на нее родитель. — Изготовь-ка сейчас для г-на барона яичницу с ветчиной. Да на погребке есть ведь еще никак бараньи котлеты?

— Есть... — прошептала девушка, глотая слезы.

— Так парочку тоже изжарь.

— И для казаков г-на барона?

— И для них тоже, понятное дело. Г-н барон за все чистым золотом заплатит. А Ханс

где же? Ханс! Ханс!

Показался и Ханс, буфетчик, малый из себя тоже пригожий, но, как ночь, хмурый.

— Ты где пропадал? — напустился на него хозяин.

А Ханс, не огрызаясь, смиренно в ответ:

— Да вы же меня гоните?

— Завтра иди себе на все четыре стороны; силой держать тебя не стану. А сегодня ты у меня еще слуга И раб; что прикажу, то и делай. Понял? Изволь-ка спуститься в погреб за бутылкой гохгеймера 99-го года.

— Это для меня? — спрашиваю.

— Для вас, г-н барон, для вас. Разлив 99-го года! Фиалка, душистее фиалки!

Толстяк языком щелкнул и, как кот, которого за ушами защекотали, заплывшие глаза свои зажмурил.

— Коли так, — говорю, — так я попрошу уже вас, г-н хозяин, сделать мне компанию.

— С превеликим, — говорит он, — удовольствием! Но тогда, г-н барон, одной бутылки, пожалуй, не хватит? Значит, Ханс: две бутылки. Да постой, погоди! Ваши казаки, г-н барон, дорогого рейнвейна, полагаю, не оценят?

— Нет, они предпочли бы, я думаю, просто-го хлебного.

— Шнапсу? О! Того у нас хоть на целый полк. Слышишь, Ханс? Шнапсу казакам, сколько пожелают. Да и коням, смотри, овса задай и сена. Мы не поскупимся, так и г-н барон денег своих не пожалеет.

Хваленый гохгеймер и вправду тонким своим ароматом напоминал если и не фиалку, то цветущий клевер. Когда поспела яичница, одна бутылка была уже опорожнена, а вторая почата, благодаря, впрочем, не столько мне, сколько самому хозяину. Зато и язык у него развязался.

— Какого, — говорит, — я женишка-то для дочки подцепил! Первый мельник во всем околотке...

— Это не тот ли, — говорю, — которого вы давеча на дворе провожали?

— Он самый.

— Но любит ли его ваша дочка? На вид он, признаться, очень уж невзрачен, куда против Ханса. И дочке вашей Ханс, верно, милее?

— Мало ли что!

— Да разве он не расторопен, не честен?

— И расторопен, и честен. Но у Нидермейера в государственном банке капиталу сорок тысяч.

— А у вас самих сколько? Верно тоже довольно?

— Когда человеку бывает довольно!

— Да с немилым мужем она несчастна еще станет.

— Стерпится, слюбится. Наши вейнсбергские жены самые верные в целом мире. В церкви у нас есть про то и картина. Угодно, так я ее потом покажу г-ну барону.

— Да чем они доказали свою верность?

— А вот чем. Когда г-н барон подъезжал сюда, так заметил ведь на горе старый замок?

— Развалины замка? Как не заметить.

— Ну, вот, этот самый замок шесть веков назад осаждал император австрийский Конрад III. Туда от буйных его воинов спаслись все жители Вейнсберга. Когда тут припасы в замке были все съедены, и осажденным оставалось только помереть с голоду, к императору вышли оттуда женщины и умоляли выпустить их на волю. Император Конрад был хоть и жесток, но в то же время и настоящий

рыцарь.

«— Сударыни! — сказал он им. — С женщинами я не воюю, а потому идите себе с Богом, да уж так и быть, берите с собой все, что вам дороже и что можете унести на своих плечах».

Он думал, конечно, что всего дороже им их наряды и что каждая свяжет их в узел и взвалит себе на плечи. Но вместо того они вынесли из замка на своих плечах собственных своих мужей. Такая супружеская верность тронула даже черствое сердце императора, и он выпустил на волю вместе с женами и их мужей. С тех самых пор замок наш так и называется «Вейбертрейэ».

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

Граф Дмитриев-Мамонов посаженным отцом

Слушаю я хозяина, а сам уплетаю себе яичницу и котлеты, запиваю старым рейнвейном. И напала на меня тут такая Истомина, что с места бы не встал.

— А что, — говорю, — г-н хозяин, нет ли у вас горницы, где бы мне с часок вздремнуть?

— Как не быть, — говорит. — Лотте! Покажи-ка г-ну барону парадную горницу.

Повела она меня в верхнее жильё, сама всхлипывает.

— Что, с вами, — говорю, — мейн либес Кинд? (У немцев молодых девушек всегда ведь «милыми детьми» называют.)

Она в ответ:

— Ах, не спрашивайте...

— Да вы меня, — говорю, — не бойтесь. Я очень хорошо понимаю, что вы охотнее вышли бы за Ханса. Я сам тоже ведь обручен; видите: колечко у меня с бирюзой? Голубой цвет — цвет верности...

Не дослушала меня и — за дверь.

Прилег я на канапе. Как вдруг со двора лошадиный топот, громкие голоса. Поднялся я, выглянул во двор: целый отряд казачий!

«Уж не Мамонов ли со своей ордой? Обождем, как поведут себя».

Защелкнул дверь на ключ, растянулся опять на канапе и прислушиваюсь.

Вот и в нижнем этаже немалый шум, российская наша брань, отчаянный женский визг и крик.

Тут уж терпения моего не стало, на лестницу выскочил и вниз.

Дюжий казак — не казак, а мужчина, казачком обряженный, хозяйскую дочку в лапы загреб и, как малого ребенка, за стол сажает рядом со своим командиром; а командир — молодой еще человек, на три года меня разве старше, но рослый, плечистый и в густых генеральских эполетах. Девушка вскочить пытается; но генерал ее за руку держит и не пускает. В дверях же двое таких же бородачей, как первый, с Хансом возятся. Лоб у него рассечен, кровь по лицу струится, но ражий малый не унывает и кулаками отбивается.

— Да что вы, ребята, двое с одним не справитесь? — кричит на них генерал. — Затрепину в шею, да ремнем руки за спину...

Тут речь на устах его разом пересеклась: перед ним я предстал и, невзирая на разницу наших рангов:

— Генерал! — говорю. — Сию же минуту извольте ее отпустить!

Красное с мороза лицо его побагровело, глаза грозно засверкали.

— Да вы-то, сударь, кто? — кричит. — Откуда проявились?

— Я, — говорю, — как видите, тоже казачий офицер из главной квартиры с поручением к генералу графу Дмитриеву-Мамонову. Не с ним ли говорить честь имею?

— С ним самим.

— Так позвольте вручить вашему сиятельству бумагу от начальника главного штаба, князя Петра Михайловича Волконского.

Принял он от меня бумагу, стал читать, но, не дочитав, скомкал и в карман засунул.

— Как бы не так! — говорит. — Не обирать виртем-бержцев! В Москве у нас эти мерзавцы еще хуже самих французов хозяйничали;

долг платежом красен. Так и передайте вашему Волконскому.

— На словах, — говорю, — передать я это не посмею. Не будете ли добры, генерал, дать мне это письменно...

— Стану я с ними еще переписываться! Содержу я свой полк на собственный кошт, действую на свой страх и отдавать отчет никому не обязан. Но вы-то, сударь, как дерзнули перед генералом так забыться, а?

Вижу, что я в его руках: если он уже начальника штаба ни в грош не ставит, то со мной по-своему, по-мамоновски, разделается. Тут меня, как молнией, безумная, но счастливая мысль осенила.

— Хотя, — говорю, — я и хорунжий только, но все же офицер, и сами вы, генерал, на моем месте не дали бы в обиду свою невесту.

— Невесту? — изумился он и недоверчиво перевел глаза с меня на Лотте, с Лотте на ее отца, а с того опять на меня.

— Г-н генерал не верит, что ты, Лотте, обручена со мною, — заговорил я уже по-немецки. — А ведь это обручальное кольцо я получил от тебя?

И показываю знакомое уже ей колечко Ириши. Запуганная девушка глаза на меня выпучила; но родитель меня тут же понял и подтвердить поспешил:

— А то от кого же? Весной и свадьба.

До сей минуты Мамонов являл себя только буйным казаком; теперь он показал себя, как император Конрад III, и истинным кавалером.

— Если так, — сказал он, преклоняя голову перед моей мнимой невестой, — то прошу вас, мейн фрейлейн, великодушно меня извинить!

Выговор немецкий у него был куда чище, чем у меня: не даром же он обучался иностранным языкам еще с раннего детства.

— Но зачем, — говорит, — до весны еще откладывать? Чтобы загладить мою вину, я готов быть у вас посаженным отцом. Но завтра мне надо быть уже в другом месте; а потому мы вас теперь же и повенчаем. Меня как варом обожгло.

— То есть как так теперь же? — говорю. — Еще сегодня?

— Ну да. Время военное, так все по-военно-

му. Здесь в селе есть ведь церковь? Значит, есть и пастор.

— Простите, генерал, — говорю я на то. — Но теперь у нас, православных, пост: до Крещенья венчать не положено.

— Да невеста ваша какой веры? Лютеранской? А у лютеран постов нет. Обвенчают теперь по лютеранскому обряду, а после Крещенья в Карлсруэ, что ли, или в Дармштадте, и православный поп найдется.

И он тут же поручил отцу Лотте бежать за пастором.

— Пускай поскорее надевает свой талар, а кистеру скажите, чтобы осветил и церковь.

Я хозяину украдкой подмигиваю: «Не слушайте, дескать, не ходите». Но барона-офицера и богатого помещика иметь зятем вместо какого-то мельника тому очень уж, видно, полюбилось: запорол тоже горячку.

— Бегу, г-н генерал! Только дайте мне с собой двух ваших казаков, чтобы пастор не заупрямился. А ты, Лотте, ступай-ка, принарядись к венчанью.

На бедную девушку точно столбняк нашел. Только когда отец с казаками за дверь вышел,

она слезами залилась. Я ее за руку в сторону отвел.

— Слушайте, мейн либес Кинд, — говорю ей шепотом, — вы знаете ведь, что у меня есть уже в России невеста; стало быть, на вас я во всяком случае не женюсь.

Заплаканные глазки на меня вскинув, она смятенным голосом лепечет:

— Так зачем же пастор?

— Затем, чтобы повенчать вас с Хансом. Бледные щеки ее огнем вспыхнули.

— С Хансом? Как же так?

— Я хочу избавить вас от Нидермейера. Или он вам милее Ханса?

— Ах, нет! Но мне все не верится... И отец ни за что не отдаст меня за Ханса...

— Отдаст. Отвечаю вам за то моим честным словом — словом русского офицера. Ступайте же и поскорее приоденьтесь.

Звучал ли мой голос так уверенно, или мое офицерское честное слово на нее так подействовало, но девушка отерла слезы и быстро удалилась.

«Ну, — думаю про себя, — либо пан, либо пропал».

Подхожу опять к Мамонову.

— Позвольте, — говорю, — генерал, доложить вам, что я еще в России столько хороше-го про вас слышался, что об одном только и мечтал, как бы попасть под ваше начальство.

— Вот как! Кто же вам говорил про меня?

— Аристарх Петрович Толбухин.

— Аристарх?.. Имя это мне в детстве еще как-то врезалось в память.

— Да Аристарх Петрович помнит вас именно маленьким мальчиком. Он был очень хорош с покойным вашим батюшкой, графом Александром Матвеичем. Уже в то время ведь вы отличались необыкновенными дарованиями, а потому и после Аристарх Петрович всегда интересовался вашей судьбой. Он рассказывал мне, как вы 21-го года были уже обер-прокурором сената, и все сенаторы пред умом вашим преклонялись; как, тем не менее, из любви к отечеству вы пожертвовали чиновной карьерой, чтобы на свои средства вооружить целый полк для изгнания Наполеона из России...

Грешный человек! Хоть я и повторял то, что слышал про Мамонова от Аристарха Пет-

ровича, но повторял одно достохвальное и с напускным жаром.

Цель моя была, однако, достигнута: видимо, польщенный, Мамонов благосклонно улыбнулся.

— Все это верно, — сказал он, — и жалею только, что раньше не знал вас...

— А уж я-то как жалею! В императорской квартире не могли указать мне, где находится ваш полк; а перед «битвой народов» под Лейпцигом атамак донских казаков граф Платов взял меня к себе...

— И там же, при Лейпциге, вы Георгия себе заслужили?

— Там.

— Могу вам только позавидовать! — вздохнул Мамонов. — Мне до сих пор не довелось еще сразиться с французами: с колбасниками-немцами все вожусь! Как это вы, скажите, так скоро с этой немочкой обручились? Когда вы сюда прибыли?

— Когда прибыл?.. Очень недавно... Отец ее из корысти, изволите видеть, совсем другого жениха ей наметил — богача-мельника...

— О!

— А дочка отдала уже сердце отцовскому буфетчику...

— Кому? Этому драчуну Хансу?

— Дрался он, ваше сиятельство, потому, что защищал даму своего сердца.

— Так, так. А вы отбили ее у обоих; пришли, увидели и победили? *Veni, vidi, vici*?

— Нет, она по-прежнему еще любит своего Ханса.

— Черт побери! Так как же вы все-таки решаетесь жениться на ней?

— Я и не женюсь: женится Ханс. Мамонов кулаком по столу треснул и еще раз нечистого помянул.

— Так вы, сударь, что ж это, меня все время только морочили?

— Морочил, — говорю, — генерал, виноват! Но иначе вы меня и слушать бы не стали. А ваше сиятельство — человек благородный, душевный. Теперь, когда вы меня выслушали и знаете, в чем дело, вы примете угнетенных под свое покровительство и их осчастливите.

— То есть кого?

— Да Лотте и Ханса. Пастор уже позван в церковь, а сами же вы ведь предложили себя

девушке в посаженные отцы. За кого бы она ни вышла — не все ли вам равно? Была бы лишь счастлива; а лучшего мужа, чем Ханс, ей не найти.

Глядит на меня генерал, да вдруг как разразится — не гневною уже бранью, а раскатистым смехом:

— Ха-ха-ха-ха! Вот уж разодолжили, можно сказать! Ну, что ж, коли все так, как вы говорите, то отчего бы ее и не осчастливить?

И, обернувшись к стоявшим у дверей казакам:

— Привести, — говорит, — сюда того молодчика. Привели Ханса. Локти у него назад скручены, вид злобный — затравленного зверя. От лютого казачьего генерала он чаял, конечно, и лютую расправу. Ан, вместо того сей дикарь говорит ему с преблагодушной улыбкой:

— Вот что, Ханс: хочешь жениться на хозяйской дочке?

Тот задорно в ответ:

— И не стыдно вам шутить над беззащитным?! Расстреляйте и — конец!

— И не думаю шутить: я послал уже хозяи-

на за пастором.

— И за кистером тоже, — прибавил я от себя, — чтобы свечи в церкви зажег.

Смотрит Ханс на меня, смотрит на генерала, не знает: верить или не верить?

— Ну, что же, — говорит Мамонов. — Или ты не любишь Лотте? Не хочешь с нею вовсе венчаться?

— Да как же с хозяином?..

— Хозяин твой и пикнуть не посмеет. На глаза ему только пока не попадайся, а иди за нами тихомолком в церковь. Ну, что же, говори: хочешь ты, или нет?

— Как не хотеть!

— Ну, так ступай же, смой кровь с лица, да обрядись как следует. Невеста тоже сейчас готова.

Ушел Ханс, а тут и хозяин входит, впопыхах отдувается.

— Ну, что пастор? — спрашивает Мамонов.

— Кабы не ваши казаки, ни за что бы его не уломать! «Нельзя, — говорит, — без оглашения».

— А теперь он в церкви?

— В церкви, да и народ уже собирается: ба-

бам нет ведь большего праздника, как этакая свадьба. А где же Лотте?

Пошел за дочкой, а дочка уж на пороге — бледная, трепетная, но нарядная и с миртовой веткой в волосах.

— Что, за ум взялась? — говорит отец. — А мирт откуда у тебя?

— Из сундука покойной матушки...

— Недаром она, значит, от собственной свадьбы своей припрятала. А вот и наши кольца венчальные: ими и повенчаются.

И вручает дочке одно кольцо, мне другое. Мамонов же, посаженный отец, помогает невесте в шубейку закутаться, под руку на улицу ее выводит и к церкви церемониально ведет; мы с родителем вслед шествуем, а за нами почетным конвоем ватага мамоновцев валит. Гогочут озорники, промеж себя шуточки глупые отпускают. Но оглянулся командир, цыкнул на них, примолкли.

Из деревенской церкви навстречу нам торжественные звуки органа доносятся. Входим, сквозь толпу деревенскую проталкиваемся. На алтаре восковые свечи горят, и пастор в своем пастырском облачении — черном тала-

ре, с золотым распятием на груди, нас уже поджидает.

Но, не доходя до алтаря, посаженный отец с невестой останавливаются и назад оборачиваются. Я тоже на входную дверь озираюсь.

— Ну, что же, г-н барон? — удивляется родитель невесты. — Что там еще такое?

А из-за толпы в это время появляется Ханс. Умылся молодчик, как приказано, только красный шрам на лбу, расфрантился по праздничному.

— Тебе-то что тут еще? — напускается на него хозяин. А посаженный с поклоном уступает уже свое

место Хансу; я передаю ему свое венчальное кольцо; и берет он за руку невесту, к алтарю ведет.

— Что это значит?.. — возмущается родитель. — Г-н генерал! Г-н барон!

Но генерал пистолет на него наводит:

— Мауль хальтен! Молчать! Затем обращается к пастору:

— Не угодно ли вам венчать молодых людей: они любят друг друга.

— Простите... — бормочет пастор. — Но



Графъ Дмитріевъ-Мамоновъ посаженнымъ отцомъ.

отец невесты как будто не одобряет этого брака.

Мамонов приставляет пистолет к груди отца:

— Скажите г-ну пастору, что вы ничего не имеете против этого брака. Ну?

Толстяк дрожит, как осиновый лист, и, запинаясь, повторяет:

— Ничего не имею против...

— А ты, невеста, — говорит пастор, — согласна ли вступить в супружество с этим молодым человеком? Буде согласна, то отвечай: «Да».

Невеста тихо, но внятно отвечает:

— Да.

— И ты, жених, согласен вступить в супружество с этой девицей? Буде согласен, то отвечай: «Да».

Ответ жениха: «Да!» звучит так громко, что и в самом отдаленном углу церкви можно его слышать.

Пастор предлагает обоим опуститься на колени и приступает к венчальному обряду.

В продолжение оногo я оглядываюсь по сторонам. Храм старинный, со стрельчатыми

окнами, иконами не украшенный, ибо таких у лютеран ведь не полагается. Но на одной стене все-таки большая картина. Не та ли самая, про которую давеча рассказывал мне хозяин? От времени картина сильно почернела. Но, взглядевшись, я все же различил высокую гору с рыцарским замком на вершине и процессию, выходящую из ворот замка: вереницу женщин, несущих на плечах своих каждая по мужчине.

И мысль переносит меня опять назад за шесть веков к легендарному событию, совершившемуся здесь же в Вейнсберге...

Тем временем пастор обменял уже кольца на руках жениха и невесты и благословляет молодых. Обряд окончен. На хорах заиграл опять орган. Новобрачные рука об руку выходят из церкви. Родитель, волей-неволей, возвращается с ними тоже на свой постоянный двор.

— Ну, г-н хозяин, — говорит ему тут Мамонов, — что же вы за зятя спасибо мне не скажете? Ведь сами же хвалили его расторопность и честность? Он будет вам правой рукой. А вышла бы дочь ваша за другого, так вы

остались бы здесь одни, как перст, изныли бы в одиночестве над своим денежным сундуком. Так ведь?

— Так-то так...

— Ну, так выпьемте же за здоровье молодых.

А те духом воспрянули, совсем окрылились: не спросясь уже старого главы дома, всякое угощение несут. Что есть в печи — все на стол мечи! А тем паче, что есть в погребе.

Роль председателя на свадебном пиру принял на себя уже Мамонов. Первый тост его, само собою, за государя императора, второй — за храброе российское воинство, а там уж — за новобрачных и за хозяина.

Тут встает с места и новобрачный, произносит не больно-то складную, но трогательную речь в честь своих двух благодетелей — генерала и «барона».

В людской же рядом, у мамоновцев, песни свадебные хором расппеваются, и чем дальше, тем все громче. Новобрачный идет туда с полным стаканом и мы за ним посмотреть, что-то будет. А мамоновцы только его и ждали:

— Покачаем молодого, братцы?

— Покачаем!

И взлетает молодой на воздух, только пятки мелькают, да из стакана его брызги кругом разлетаются.

— А теперь молодую!

Но молодая визжит, за посаженного отца хоронится. Тот с усмешкой берет ее под свою защиту.

— Нет, ее-то оставьте уж в покое. Вот родителя ее — иное дело.

— Ну, хватай, ребята!

И родитель трижды совершает такой же воздушный полет.

— А теперь и самого генерала и г-на барона! — указывает на нас Ханс.

Расходившиеся мамоновцы точно так же и за нас с генералом принимаются.

Тут разгул пошел уже великий, поистине мамаевский...

Все это было вчера, а сегодня я проснулся на постели в верхнем жилье с отчаянною головною болью, и только когда окунул голову в таз с водой, мысли мои понемногу прояснились.

Мамоновцев, однако, с их командиром и

след уже простыл. Мало того: одного из моих донцов, Плотникова, вдобавок с собой сманили. Другого, Маслова, я в конюшне нашел на соломе. Лежит и встать не может, только глухо стонет.

— Да что это, — говорю, — с тобой?

— Смерть моя, знать, пришла, ваше благородие!.. Отравился...

— Что за вздор! Чем ты мог здесь отравиться?

— Уксусом... Полный стакан хватил... Ой!

— Да с чего тебя вдруг угораздило?

— С похмелья... Зашел, вишь, с заднего крыльца на кухню, не найдется ли чем опохмелиться. А на окошке, как на грех, бутылка. Взял, на свет поглядел: ну, вино. Налил стакан, да от жажды духом как волью в себя... Что тут со мною сделалось!.. Молодая хозяйка (дай, Господи, ей доброе здоровье, а по смерти царство небесное!) и водой-то меня и молоком отпаивала...

— И все не легче?

— Маленько полегчало. Но землицей родной своей еще полечусь.

— Какой такой землицей?

— А вот на груди у меня в мешочке зашита — со станицы нашей; отсыплю щепотку в стакан с водой, да с теплой молитвой и выпью.

— И, думаешь, поможет?

— Сам на себе еще не испробовал: никогда, почитай, не хворал. На Дону же у нас от всякой хвори лечатся.

Ну, что ж, коли верит человек в свое средство — и благо: вера чудеса творит.



ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

Переход через Рейн. — Старый приятель. — Новая Жаннад'Арк

* * *

Карлсруэ, декабря 1. С родного Дона ли землица с молитвой помогла моему донцу, или же он просто за сутки отлежался, но на другое утро встал уже как встрепанный... Прощаясь с нашими вейнсбергскими хозяевами (с молодыми, ибо старик все еще «неравного брака» дочери переварить не мог и глаз не казал), я вынул было кошелек, чтобы рассчитаться; но Лотте руки за спину спрятала.

— Нет, нет! — говорит. — Ничего мы от вас не возьмем. Г-н барон столько для нас с Хансом сделал, что мы останемся вечными его должниками.

Хотя здесь, в Карлсруэ, я и остановился в «Золотой овце», которую мне Хомутов еще во Франкфурте назвал, но самого его уже не застал: он оставил мне только записку, что спешит дальше в Раштат — квартиру для государя заготовить. Остаться мне здесь не для че-

го; я еду туда же. Как-то туда еще Волконский к моему докладу о Мамонове отнесется?

* * *

Рашиат, декабря 3. Князь выслушал меня то морщась, то кусая губы: история с насильственным браком в Вейнсберге и его, видно, немало позабавила.

— Ответа от графа Мамонова вы, значит, так мне и не привезли? — сказал он, а когда я стал оправдываться, он перебил меня: — Хорошо, хорошо. Вы-то тут ни при чем. Хомутов передал мне ваше желание остаться при штабе ординарцем...

— Был бы, — говорю, — глубоко благодарен вашему сиятельству... Как бы только атаман мой не разгневался, что у меня сбежал один из его донцов!

— Ну, об этом мы графу Платову напишем. А другим казаком вы довольны?

— Весьма доволен. Он ко мне тоже так привязался, что, пожалуй, неохотно даже расстанется со мной.

— Так возьмите его себе денщиком. И об этом тоже припишем.

* * *

Декабря 5. Причисление мое ординарцем состоялось с переименованием в корнеты, и бумага об этом к графу Платову отправлена. Но дела определенного у меня пока еще нет. Сагайдачный приютил меня у себя; самого же его я почти не вижу: со свитскими по-прежнему хорошится. И сижу я один-одинешенек у окошка, за которым метель метет, и злоблюсь, как пес на цепи, и на метель, и на свое безделье, и на двоедушие Шварценберга. Из-за бесплодной канители с Наполеоном затянул он вторжение союзных войск во Францию, а сам, не посоветовавшись даже с союзниками, двинул своих цесарцев в нейтральную Швейцарию. Государь негодует, но с главнокомандующим нельзя не считаться. Приходится и нам идти на Базель; но Шварценбергу объявлено, что 1 января 1814 г., т. е. ровно через год по переходе русской армии через германскую границу мы, во всяком случае, перейдем и Рейн.

* * *

Швейцария, Лёррах, декабря 12. Пристроился я здесь в полумиле от Базеля; императорская же квартира в самом Базеле, где есть

ведь и мост для перехода во всякую минуту через Рейн.

* * *

Декабря 16. Государь терпение потерял, и всем трем союзным армиям: Главной, Силезской и Северной, — приказ отдан идти за Рейн. Гвардию же поведет сам государь в день Нового года.

Вот выписка из Высочайшего приказа, который будет прочитан всем русским полкам:

«Воины! Мужество и храбрость ваша привела вас от Оки на Рейн... Мы уже спасли, прославили отечество свое, возвратили Европе свободу ее и независимость. Остается увенчать великий подвиг сей желаемым миром... Неприятели, вступя в средину царства нашего, нанесли нам много зла, но и претерпели за оное страшную казнь. Гнев Божий поразил их. Не уподобимся им: человеколюбивому Богу не может быть угодно бесчеловечие и зверство. Забудем дела их; понесем к ним не месть и злобу, но дружелюбие и простертую для примирения руку»...

Истинно христиански-царские слова!

1814 г.

* * *

Базель, января 1. Переход гвардии через Рейн действительно ныне, в Новый год, совершился, несмотря на отчаянную погоду; пронизывающий ветер и мокрый снег. Во главе войск ехал через мост сам государь в одном мундире без плаща: так, с юных лет еще, он себя против всякой непогоды закалил. Пропустив на том берегу мимо себя все полки парадным маршем, он возвратился опять в Базель и нагонит армию уже во французском городе Лангре. По пути завернет он еще в Монбельяр, где императрица Мария Феодоровна провела свою юность безмятежную и счастливую. Как не воспользоваться сыну случаем посетить ту Аркадию, о коей царица-мать, говорят, и доселе с умилением вспоминает!

* * *

Лангр, января 8. При переходе сюда за двести верст от Базеля войскам нашим пришлось немало-таки претерпеть и от занесен-

ных снегом дорог, и от недостатка продовольствия. Здешнее население живет, не в пример германскому, бедно, кормится плохо. В городах жители от нас, неприятелей, прячутся; а в помещичьих усадьбах и замках остались одни старые управители да ключницы, которые диву даются, что мы, русские, с ними по-человечески обходимся, не грабим, не поджигаем.

В ободрение духа воинского новый «певец во стане русских воинов» проявился, некий капитан Батюшков, воспевающий переход наш через Рейн. Сперва чудятся ему проходящие этими же местами римские легионы и переплывающий Рейн Юлий Цесарь, потом крестоносцы, трубадуры, наконец, и современный Аттила, бич рода человеческого, Наполеон.

*И час судьбы настал! Мы здесь,
сыны снегов,
Под знаменем Москвы с свободой
и громами,
 Стеклись с морей, покрытых
льдами,
От струй полуденных, от Каспия
валов,
 От волн Улей и Байкала,*

От Волги, Дона и Днепра,
От града нашего Петра,
С вершин Кавказа и Урала!..
Мы здесь, о Рейн, здесь! Ты видишь
блеск мечей!
Ты слышишь шум полков и новых
коней ржанье,
Ура победы и взыванье
Идущих, скачущих к тебе богаты-
рей.
Взвивая к небу прах летучий,
По трупам вражеским ле-
тят,
И вот, коней лихих поят,
Кругом заставляя дол зыбу-
чий...

Спускается ночь; войска располагаются би-
ваками:

Костры над Рейном дымятся и
пылают,
И чащи радости сверкают...

Да, блаженны господа стихотворцы, кото-
рые от земных невзгод взлетают на Пинд,
чтобы любоваться оттуда юдольным миром
сквозь увеличительное стекло своей соб-
ственной фантазии, в назидание нам, про-

стым смертным, что везде и во всем есть тоже своего рода красота и утеха, умей их только разглядеть и оценить.

* * *

Января 12. Два дня уже, что все три монарха со своими штабами здесь, в Лангре. Опять идут рассуждения о том, продолжать ли еще воевать, или, не проливая крови, идти на мир; а в передовой цепи, как и прежде, ожидает решения Наполеонов неизменный переговорщик Коленкур.

* * *

Января 14. По приглашению государя прибыл его старый воспитатель, швейцарец Лагарп. По часам беседуют с глазу на глаз.

* * *

Января 15. Решено воевать, но в то же время для переговоров о мире собрать особый конгресс в Шатильоне. Нашим уполномоченным, однако ж, будто бы секретный наказ дан — отнюдь не торопиться, а выжидать дальнейшие военные действия. Еще бы! Союзных войск теперь 400 тысяч, а у Наполеона всего-на-все 120 тысяч, да и из тех-то сколько новобранцев. Блюхер не стал бы попусту с

ним и слов тратить. У него на все рассуждения один ответ: «Дер Керль мус херунтер!» («Долой, дескать, молодца!»), все равно, что у Катона про Карфаген: «Ceterum censeo Carthaginem esse delendam!»

* * *

Января 16. Какая встреча! Истинно, что гора с горой не сойдется, а человек с человеком столкнется. Поутру присылает за мной Волконский.

— Главная квартира Наполеона, — говорит, — находится теперь в Шалоне. Оттуда он захочет, конечно, перерезать нам путь на Париж. Так надо выяснить, не подходят ли к нему еще подкрепления с юга. Возьмите же казака и сделайте разведку в сторону Дижона.

Казака искать мне было недолго: кликнул я моего Маслова и — гайда!

Сделали мы этак то на рысях, то в карьер, верст двадцать, — ни единого вооруженного неприятеля. А ветер ледяной, до костей пробирает. Порешили отогреться в ближайшем жилье.

Вон и жилье. Подъезжаем. На дворе чело-

век на деревяшке — инвалид, значит, — лошаденку в одноколку запрягает. Услышал нас — обернулся. Гляжу я ему в лицо — глазам не верю: денщик майора Ронфляра Пипо, которого еще прошлой осенью в Москве из виду потерял.

— Ты ли это, Пипо?

И он с меня глаз не сводит. Узнал тоже.

— Андре! — воскликнул; но тотчас поправился: — мосье Андре... Вы ведь, я вижу, офицер?

— Корнет, да. А ты нас и не испугался, как другие земляки твои?

— Точно я вас, русских, не знаю! Не австрийцы, слава Богу; даром обижать не станете.

— Так непустишь ли ты нас к себе немножко погреться?

— Милости просим, пожалуйста! Очень рад. И с женой своей вас познакомлю.

— Так ты, Пипо, женат?

— О! Не жена она у меня — клад; ужо расскажу вам, как Бог нас свел.

— Но ты только что куда-то ехать собирался?

— Да, в город за покупками для хозяйства. Но мне не так уж к спеху. Тереза! Где ты? Принимай гостей!

И входит к нам чернобровая молодлица, роста богатырского — на полголовы выше мужа и с пушком над губой. Представляет меня ей Пипо: «Рассказывал, мол, уже тебе про приятеля моего московского Андрё. А вот, вишь, офицером стал».

Она же, подбоченясь, из-под насупленных бровей на меня и Маслова искоса огненные стрелы мечет.

— Да ведь они русские? — говорит.

— Ну да...

— Стало быть, воевать с нами пришли? А ты их в дом к нам пускаешь!

Муж ее по плечу гладит; на цыпочки приподнявшись, в щеку целует.

— Ну, ну, моя дорогая... Ведь, как ни как, с мосье Андрё мы сколько времени душа в душу жили...

Все втуне! Отвела с плеча его руку, что-то под нос буркнула и вон пошла, дверью хлопнула. Пипо — за нею. Немного погодя возвращается, красный до корней волос от конфу-

зии.

— Жена моя, — говорит, — ярая патриотка. Любимый брат у нее, изволите видеть, в позапрошлом году с великой армией к вам в Россию ушел, да так и не вернулся; погиб, надо быть, либо в сражении, либо от морозов, как сотни тысяч наших. Ну, вот, она о русских и слышать теперь не может.

— Так лучше уж нам, — говорю, — от тебя убраться...

— Нет, нет, зачем! — говорит. — Я ее урезонил. Сейчас подаст на стол, что от обеда осталось. Мы-то уж отобедали. Присядьте, не побрезгайте.

Присели. Спрашиваю я его, в каком деле ноги он лишился. Вздыхает.

— А еще в августе месяце, — говорит, — под Дрезденом.

— Там же, — говорю, — где и у генерала Моро ногу оторвало.

— Моро? Эге! Так, значит, верно...

— Что верно?

— Да стою я, знаете, на редуте у своего орудия. Подходит тут сам император наш с генералами. Дождь так и льет, так и хлещет; у им-

ператора шляпа, намокши, до плеч нависла. А он как ни в чем не бывало подзорную трубу свою на тот берег наводит, вас, неприятелей, на высотах высматривает.

— Ваше величество, отойдите дальше! — упрашивают его генералы.

А он:

— Та пуля, что меня уложит, еще не отлита. Берет из жилетного карманчика понюшку табаку и опять за свою трубу. Да вдруг как вскрикнет:

— Смотрите, господа: вон Моро в зеленом мундире! Ну, фейерверкеры, покажите-ка себя!

И грянул залп из 16-ти орудий. Когда дым разошелся, на высотах ваших никого уже не было. После уж в лазарете я слышал, что на той самой горе, где стояли Моро с Александром, какой-то крестьянин-саксонец на другой день оторванную ногу в сапоге поднял. Смотрит: сапог — первый сорт, генеральский. Отнес с ногой к своему королю, а король императору переслал. Император сапожников позвал, и объявили те в один голос, что сапог не английской работы и не французской, ско-

рее американской.

— Ну, значит, — говорит император, — нога ничья как изменника моего Моро.

Так оно и вышло.

— Да какой же он изменник! — говорю я на то. — Моро был изгнанник по воле самого Наполеона.

— Коли так, то не нам его судить. И тогда же он и помер?

— Да, после ампутации.

— Мир его праху! И мне бы, пожалуй, не выжить, кабы не жена. В Дрездене меня с другими калеками на повозку сложили и с транспортом на родину отправили. Не доезжая до Лангра, ось нашей повозки пополам; лошадей выпрягли, и весь транспорт пошел вперед, а нас, раненых, на повозке оставили, да так про нас и забыли. Товарищи мои калеки, здоровее меня, на деревяшках своих дальше поплелись. А у меня рана опять открылась, и наземь слезть не могу. И послал тут Господь Бог мне своего ангела — мою Терезу! Покойный отец ее тогда на смертном одре лежал. Отвезла она только что в Лангр доктора, что лечил отца, и домой возвращалась. Увидала меня в

сломанной повозке, окликнула, да как узнала в чем дело, взяла меня, как малого ребенка, на руки (силачка ведь она у меня!), да в свою тележку переложила. Отец ее и месяца потом не прожил, а меня она выходила и...

— И женила на себе?

— Подлинно что так. У меня у самого-то ни кола, ни двора, а у нее вон какой домик, да и огород, виноградник, лошадка, корова...

— Словом сказать, Пипо, ты долей своей совсем доволен?

— Да как же нет! Что было бы со мной, инвалидом, без моей Терезы? Так вы, мосье Андре, сделайте милость, уж не обессудьте ее за патриотизм.

Тут вошла и сама патриотка, по-прежнему мрачная; губы сжаты, глаза потуплены, взглядом не удостоит. На стол накрыла, графин вина принесла и каравай хлеба; потом на сковородке яичницу-глазунью. Поставила перед нами так, точно: «Нате, мол, жрите, окаянные!» Ни слова не вымолвила; сложив на груди руки по-наполеоновски, за стулом мужа стала.

— Что же ты, Тереза? — говорит Пипо. —

Села бы тоже.

— И так постою.

Стоит за ним, как часовой на часах, не проронить бы ничего из разговора врагов с мужем.

Спросил я его про его господина, майора Ронфляра; погиб с тысячами других, оказалось, при переправе через Березину. Рассказал и сам я ему про бедного лейтенанта д'Орвиля, как на брошенном французами биваке последний вздох его принял. Стали затем вдвоем наше московское житье-бытье вспоминать. И дернула же меня нелегкая подшутить над ним, нехорошо подшутить, не поприятельски. Шутить шути, да людей не мутити.

— А помнишь ли еще, Пипо, — говорю, — как мы с тобой в шашки на Париж играли?

Вспыхнул весь, как огонь, на стуле заерзал, на жену с опаской оглядывается. Она же видит, что я над муженьком ее дурачусь, суровым таким голосом вопрошает, а у самой углы рта подергивает:

— Как так на Париж?

— А так, — говорю, — да и поведал ей (про-

стить себе того не могу!), как он в Москве всегда, бывало, меня в шашки обыгрывал, но как вот однажды, уже отдав три лишние шашки, я похвалился, что все же на сей раз не токмо что партию выиграю, но и последнюю его шашку в угол запру. А он мне, дескать, на то: «Это столь же верно, как то, что вы, русские, будете у нас в Париже». — «Посмотрим», — говорю. И он: «Посмотрим! Посмотрим!» Да в конце-то концов, неким чудом, я и вправду у него все шашки забрал до последней, которую в угол запер. «Ожидайте же нас в Париже!»

Рассказываю я это мадам Терезе да посмеиваюсь (глупо! Бессердечно! Сам я теперь Это понимаю):

— И вот, мадам, предсказание-то мое сбывается: не нынче-завтра мы будем в Париже.

Владыко многомилостивый! Что случилось с моей патриоткой! Хватъ со стола графин и, как бомбой, череп бы мне раскроила, не выхвати у нее муж из руки военного ее снаряда. Очнуться мы с ним не успели, как ее и след уже простыл. Уставились мы с ним друг на друга, рты разинув, и слов даже не находим.

Вдруг со двора стук колес. Пипо с места сорвался, опрометью на двор, дверь за собой закрыть времени себе даже не дал.

— Куда, куда, Тереза? — кричит. — Возвратись, возвратись!

Выглянули мы с Масловым из окна: хозяйская лошадь с одноколкой по дороге уже вскачь несется, а Тереза, стоя, правит и бичом погоняет.

— За помощью, знать, против нас, ваше благородие, — говорит Маслов. — Нет, матушка, не уйдешь!

Выбежал тоже из дверей. Я — за ним. А он уже скок на своего коня и вихрем за одноколкой.

Я — на улицу. Пипо там тоже вслед глядит, руки ломает:

— Убьет ее казак! Убьет!

— Не убьет, — говорю. — Женщин мы не убиваем.

— Да разве она женщина, как другие? Она та же Жанна д'Арк!

«Или наша старостиха Василиса, — думаю я про себя, — того же закала».

А мой казак ее понемножку уже настигает.

Но тут одноколка заворачивает за пригорок: туда же и Маслов. Мы с Пипо все еще стоим за воротами, глаз с дороги не сводим.

— О, Боже мой, Боже мой! — бормочет бедный муж. — Увижу ли я ее еще живую?

— Не беспокойся, — говорю, — сейчас вернутся.

И точно, оба показались опять из-за пригорка; но едут уже не вскачь, а шагом. Тереза сидит в своей одноколке, голову понутив, а Маслов на своем коне рядом с ее лошадкой и в поводу оную держит. Пипо вздохнул облегченно, да и у меня, правду сказать, камень от сердца отвалился. Одноколка еще не остановилась, как Пипо подбежал — оттуда свою Жанну д'Арк принять. Но она его оттолкнула, соскочила сама и в дом без оглядки: куда уж зазорно ей было и стыдно.

Маслов вслед ей с усмешкой:

— Залезла мышь в кувшин, а кричит: «Пусти!» Да что, ваше благородие, не повернуть ли нам восвояси? Опрочь баб, никаких неприятелей в этой стороне не видать.

— Верно, — говорю, — засветло еще хоть вернемся. И распростились мы с Пипо, поже-



Новая Жанна д'Аркъ и казакъ.

лав друг другу всего лучшего.

Тем и закончилась моя разведка.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

Военные действия. — Сдача Соассона. — Бриеннская находка

* * *

Шомон, января 17. В императорскую квартиру в Лангре прискакал ночью из Шомона адъютант Шварценберга. Наполеон, оказалось, перешел в наступление, угрожая Силезской армии под Бриенном, тогда как Главная наша армия подвинулась еще только до Бар-сюр-Об. Ночь была бурная; тем не менее государь сейчас собрался к Шварценбергу в Шомон, и мы, штабные, понятно, тоже за ним. Только что идут совещания о том, как поддержать Блюхера, коему придется под Бриенном первый удар принять.

* * *

Февраля 6. Третья неделя, что не раскрыл дневника, рука не подымалась!

Под Бриенном Наполеон не пожал, по крайней мере, лавров: Блюхер со своей Силез-

ской армией дал ему решительный отпор и не мог нахвалиться геройским поведением русских полков. Город, почти весь разрушенный французскими бомбами и пожаром, к концу сражения остался за нами. Сам Блюхер занял Бриеннский замок над городом. Но тут от Шварценберга пришло приказание — на соединение с Главной армией отступить к Бар-сюр-Об и — отступили!

При сей okazji у наших гусар вышла еще предосадная ошибка. За темнотою во время ночного боя они наших союзников-виртембергцев не распознали и несколько человек зарубили, хотя у тех и были на киверах такие же зеленые ветки. Дабы сего впредь не случилось, вышел приказ по всей армии — во время битвы левую руку выше локтя повязывать себе белым платком.

А после Бриенна следовал для союзников уже целый ряд поражений. То доходили мы до Троя, то отходили назад, то снова наступали до Шомона. Почти все удары Шварценберг заставлял выносить Блюхера, коего Силезская армия, таким образом, обратилась как бы в Главную, а Главная — во вспомогательную.

Но в сражении австрийцы всякий раз первые же показывают тыл; а в незащищенных городах, как и раньше, ведут себя разбойниками, грабят лавки и частные дома. Зато при возвращении их в тот же город, жители на улицах камнями в них бросают; русских же никогда не трогают. Наши солдатики, попав в Шампанью, если чем прельщаются, так вином. Каким-то верхним чутьем находят они зарытые в огородах бочки с отменным разливом 1811 года — «вэн де ля комет» (по комете того года), и привозят их в свой полк на общее пользование.

Военачальники наши в счастливую звезду Наполеонову уверовать опять готовы. Один лишь государь наш по-прежнему духом не падает. Особенно же ободрила его, да и всех нас, весть о сдаче Соассона, привезенная адъютантом барона Винценгероде Пашковым.

После двух отбитых штурмов и безуспешного обстрела города артиллерией, егеря генерала Чернышева притащили к городским воротам два толстых бревна и, раскачав их, как таранами проломил ворота; после чего с

криком «ура!» ворвались в город. Следом за ними влетели и уланы Сухтелена. При этом вышел презабавный случай. Около моста через реку Эн перед Соассоном расположен целый ряд мельниц. У ближайшей мельницы стоял табун ослов. Когда первый взвод уланов пустился рысью через мост, грохот деревянной настилки моста под конскими копытами так перепугал ослов, что те всем табуном с обычным своим ужасным ревом помчались через дорогу наперерез остальным уланам. Тут и уланские лошади, никогда не слыжавшие еще такого рева, тоже испугались и понесли. Против столь бурного натиска храбрый крепостной гарнизон не устоял и разбежался врассыпную.

Сам же корпусный командир во время всего дела (как нехотя проговорился Пашков) «отдыхал» со своим штабом в некотором отдалении под стогом сена. Только когда ему доложили, что Соассон сдался, он двинулся тоже в город, где на базарной площади его уже ожидал Чернышев с городским мэром, чиновниками и 3600-ми пленными, в числе коих было и три генерала.

* * *

Троа, февраля 8. Чернышев за свой молодецкий натиск при Соассони произведен в генерал-лейтенанты; барону же Винценгероде его отдых под стогом сена ничего не принес. по усам текло, а в рот не попало.

* * *

Февраля 10. Платов со своими казаками взял штурмом Немур.

* * *

Февраля 11. Часа два уже, как я возвратился из Бриенна, а все еще не очувствовался.

Дело в том, что при передвижении союзников через этот город, тамошний замок — шато-Бриенн — мало тоже пострадал, да и не столько от орудийного огня, сколько от разгрома войсками. Австрийцы всю вину на казаков и баварцев сваливают, баварцы на казаков и австрийцев, а казаки на австрийцев и баварцев. Кто их разберет! Как бы то ни было, наименее библиотека потерпела — библиотека огромная и драгоценная. Только несколько французских романов взято нашими офицерами. Разговорились мы вчера об этом с Муравьевым.

— Вы, Пруденский, завидуете, что я запасся там чтением? — говорит Муравьев. — Так вот вам случай сделать то же: подполковнику Сахновскому поручено отобрать из той же библиотеки все военные сочинения для главного штаба в Петербурге. Попроситесь к нему в помощь.

Я так и сделал.

— Да вы свободно читаете по-французски? — спросил меня Сахновский.

— Свободно, — говорю. — Знаю и по-латыни.

— Тем лучше; есть там и латинские сочинения. А из моих офицеров ни один, кажется, не занимался латынью.

И вот, приезжаем с подполковником на место. Шато-Бриенн лежит живописно на горе; на стенах там и сям лишь следы обстрела.

Управитель замка, почтенного вида старичок, впустил нас не весьма охотно.

— Замок разорен, — говорит. — Все, что поценнее, уже расхищено.

— Прибыли мы сюда не для расхищения, — сухо ответил ему Сахновский. — Интересует нас одна библиотека.

— Да и за библиотеку, мосье, я ответ-
ствен...

— Перед кем? Кто владелец замка?

— Владелец?.. По-настоящему-то должен
бы быть им молодой граф Шарль-Луи Ломени
де Бриенн, племянник покойного кардинала
графа Этьена-Шарля...

— Ну, а на самом-то деле кто теперь счита-
ется владельцем?

— Теперь-то... казна. У кардинала (царство
ему небесное!) вышли нелады с его святейше-
ством римским папой... ну, его и сменили...
замок у него отобрали...

— Кто отобрал? Наполеон?

— Нет, еще директория. Но император На-
полеон не раз потом здесь останавливался...

— Стало быть, как-никак, замок в настоя-
щее время — собственность французского
правительства, и мы, неприятели, по праву
войны можем распоряжаться в нем как хо-
тим. Но я-то прибыл сюда, как сказано, толь-
ко из-за библиотеки. Проведите же меня туда.

Старику-управителю ничего не оставалось,
как повиноваться. До библиотеки нам при-
шлось пройти через целый ряд роскошных

покоев. Разгром был полный: мебель поломана, портьеры сорваны, зеркала расколочены, горки для золотой и серебряной посуды опустошены, каминные часы, севрский фарфор, статуэтки вдребезги разбиты и по полу разбросаны... Глядеть горько и больно!

— Что за варварство! — возмутился и Сахновский. — И почему вы, г-н управитель, этого с глаз не уберете?

— Ничего не уберу, ни одной вещи! — пробурчал старик. — С меня же ведь потом спросят, куда что девалось. Пусть видят, чьих рук это дело. А знаменитая коллекция натуральной истории покойного кардинала — что с нею случилось!

И в голосе его прорвались уже слезы.

— Ее тоже расхитили? — спросил Сахновский.

— Добро бы расхитили, а то надругались! Да вот сами увидите; пожалуйста за мною.

И то ведь, когда он провел нас к кабинету натуральной истории, мы с подполковником на пороге остолбенели. Огромный зал; посередине — красного дерева ящики для минералов; по стенам — такие же полки для чучел

птиц и животных, но весь пол кругом кусками минералов и растерзанными чучелами усыпан.

— Ну, скажите на милость, мосье, для чего они все это перепортили и по полу раскидали? — горячился старичок. — А этот крокодил, — чего стоило с берегов Нила сюда его доставить! Надо же было этим варварам хвост ему оторвать и в пасть сигарой засунуть!

— Остроумие невежд, — что с них взыскивать? — отозвался Сахновский, которому, однако, как и мне, как будто не по себе стало. — А библиотека где же?

В библиотеке оказался тоже немалый беспорядок. В большом круглом зале в два света книги по стенам в два яруса, внизу — в высоких шкафах, а наверху — на открытых полках до самого потолка. Но множество книг в богатых сафьяновых переплетах с золотым обрезаем из стройных рядов уже повыбрано и на полу валяются.

— Все ваши же офицеры!.. — не утерпел указать на них смотритель.

— Благодарю вас, мосье, — коротко отрезал

Сахновский. — Больше мы в вас не нуждаемся.

И сам притворил за ним дверь.

— Экое ведь, — говорит, — безобразие! И назад-то не потрудились поставить. Однако во что мы с вами отобранные книги укладывать будем? Хоть бы мешки с собой захватили...

— А что, подполковник, — предложил я ему, — на мебели тут прочные чехлы; в них бы и уложить?

— И то правда. Я вот займусь разборкой книг в этих шкафах, а вы приготовьте чехлы; потом наверху разберете книги на полках.

Снял я несколько чехлов с диванов и кресел; часть их отдав подполковнику, с остальными полез по витой лестнице в верхний ярус.

Начал я просмотр с нижних полок. Ученые все сочинения первой половины XVIII века, переплетенные уже не в сафьян, как в нижнем ярусе, а в свиную кожу. Выше — книги XVII века. Просмотрел, кое-что отложил; поднялся еще выше по приставной лесенке. Там, однако же, уже не печатные книги, а руко-

писные фолианты, так же в переплетах; но переплеты толстейшие, деревянные, на корешках только кожей обтянуты. Как стал я тут доставать тяжеловесные фолианты, меня целым облаком пыли окутало, и я расчихался.

— Что это с вами, корнет? — окликнул меня снизу подполковник.

— От пыли, — говорю, — на верхних полках здесь одни старинные рукописи; их годами не обметали. Стоит ли их, вообще, тревожить?

— Приказано все просмотреть; так рассуждать не приходится.

Делать нечего. Стал я пыльные рукописи перебирать одну за другою. Добрался, наконец, и до самой верхней полки. Вытаскиваю фолиант. Да неловко, видно, захватил: за ним сами собой уже вырвались несколько других и через перила грохнулись вниз к подполковнику.

— Что это вы, корнет, гранатами в меня пускаете? — кричит он мне оттуда не то сердито, не то шутливо.

— Виноват! — говорю и залезаю рукой в

глубину полки до самой стенки: не завалилась ли туда еще какая рукопись?

И вдруг под пальцами у меня как бы булавочная головка. Нажал на нее — и в стенке с легким треском растворилась дверца.

Потайной ящик! Засунул туда руку, — столбики в бумажных свертках.

«Неужто золото?»

Достал один столбик, развернул, — так и есть: все золотые! Притом не наполеондоры, а двойные луидоры с портретами покойных королей Людовиков XV и XVI. Значит, положены сюда еще прежним владельцем замка, кардиналом графом Ломени де Бриенном. А если так, то нынешнее французское правительство на эту частную собственность не имеет никакого права; надо возвратить все законному наследнику — племяннику кардинала. Но кто это сделает? Мое начальство? Пойдет бесконечная переписка; меня же еще, чего доброго, заподозрят в утайке некоторой суммы...

Всего вернее самому весь клад из рук в руки передать законному собственнику.

Все это молнией пронеслось у меня в голове, и пять минут спустя все свертки до по-

следнего исчезли в одном из чехлов. А снизу доносится уже голос Сахновского:

— Что, корнет, скоро вы будете готовы?

— Сейчас кончаю.

Тихонько притворил опять дверцу в стенке и заставил ее фолиантами; отобранные раньше книги упаковал в пустые чехлы и один за другим снес их вниз.

— Покажите-ка сюда, — говорит Сахновский, — все ли годится? А сами не возьмете ли чего-нибудь для чтения?

— Пару старых романов, — говорю, — я позволил себе уже отложить. Да хотелось бы взять еще на память кое-что из минералов...

— Берите, молодой человек, не стесняйтесь: все равно хозяев им уже нет.

Пошел я в кабинет натуральной истории, выбрал там несколько камней покрасивее и — опять в библиотеку, наверх, к своему чехлу с наполеондорами; уложил туда камни, сунул еще в придачу пару книг и плотно завязал, наконец, своим носовым платком, чтобы никому уже не вздумалось заглянуть внутрь.

Сахновский, в свою очередь, отобрал для главного штаба такую уйму книг, что при-

шлось нанять три подводы. Пока те нагружались, я подошел к управителю, который молча, но с сокрушением, наблюдал за погрузкой.

— Позвольте спросить: как вы называли по имени племянника кардинала графа Ломени де Бриенн? Шарль-Луи?

— Шарль-Луи, — подтвердил он. — А вам, мосье, на что?

— Да, может, доведется еще встретиться в Париже. Ведь он живет в Париже?

— Не умею вам сказать. Отец его, родной брат кардинала, был при короле Людовике XVI военным министром, но во время революции сложил голову на гильотине. Сына своего он успел еще отправить в провинцию...

— И этот сын его, вы уверены, единственный наследник покойного кардинала?

— Единственный. Но наследства-то после кардинала, как я вам уже докладывал, никакого не осталось!

«Опрічь того, — мог бы я ему возразить, — что у меня в этом чехле!» Но, понятно, ни ему, ни одной другой душе не сказал ни слова.

Вернувшись назад сюда, в Шомон, я заперся у себя на ключ и, все наследство графа

Шарля-Луи де Бриенна выгрузив из чехла на стол, принялся его пересчитывать.

Свертки были все одной величины, и в каждом заключалось по 100 двойных луидоров. Всех же свертков было 60, итого, значит, 6 000 двойных луидоров! А так как цена каждому такому двойному луидору — около 12 рублей, то предо мною на столе 72 тысячи рублей, — просто ума помрачение, дух захватывает...

Ну, а что, как кто-нибудь пронюхает, что у меня здесь такой капитал? Долго ли ограбить? И где мне сейчас собственника отыскать? Вот навязал себе обузу!



ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

Битва под Фер-Шампеноазом и шуба полковника Захаржевского. — Бомбардировка и капитуляция Парижа. — «Да здравствует мир»

* * *

Бар-сюр-Об, февраля 12. По «стратегическим соображениям» Винценгероде из Соассона к Реймсу отошел. Само собою разумеется, что французы Соассон тотчас опять заняли. В сражении я ничего не смыслю; но никакой стратег меня не уверит, что столько жертв и геройства потрачено только для того, чтобы, завладев неприятельскою крепостью, ее тотчас опять отдать.

* * *

Троа, февраля 21. Соассон снова взят, и слава Богу!

* * *

Февраля 28. Два больших сражения: под Краоном и Лаоном. В первом французы верх одержали, во втором — союзники. Однако от этих двух боев и беспрестанных мелких сты-

чек союзная армия сильно изнурена и нуждается в покое. Тем не менее, решено идти вперед, дабы поскорее завершить кампанию.

* * *

Марта 3. Под Реймсом победа снова осталась за Наполеоном. Наступление Главной армии приостановлено по всей линии.

* * *

Пужи, марта 10. Двухдневный жаркий бой под Арси. Против 100 тысяч союзной армии Наполеон мог выставить всего до 30 тысяч; поэтому, в конце концов, вынужден был отступить. Государь наш в первый же день, к несчастью, захворал лихорадкой и на второй день не мог быть на поле сражения. Шварценберг же, по обыкновению, упустил случай преследовать отступающих и окончательно доконать их.

* * *

Витри, марта 12. Обе наши армии, Главная и Силезская, доселе разобщенные, наконец, соединились. А парижане, как явствует из перехваченных писем, крайне уже тяготятся войной, коей конца-де, не видать. Наполеона клянут и о мире молитвы к Богу воссыла-

ют. Это дало решительный толчок всему делу: совещание монархов с генералами пришло к заключению, — избегая дальнейшего пролития крови, идти прямо на Париж.

* * *

Сел. Трефо, марта 14. Не хотели проливать кровь, да нежданно-негаданно под Фер-Шампеноазом натолкнулись на полчища неприятельских новобранцев, шедших наперерез нам на соединение с Наполеоном. И завязалось новое кровопролитное побоище, которое после лейпцигской «битвы народов» золотыми литерами тоже занесется в военные летописи XIX века.

— Ваше величество! — говорит государю великий князь Константин Павлович. — Мои кирасиры с самого Лейпцига не были в огне. Дозвольте им первыми идти в атаку?

— Пускай идут, — говорит государь. — А за ними пустим и остальную кавалерию. Подать мне коня!

Подали. Вести кирасир в атаку должен был дивизионный командир, полковник Захаржевский. Необычайно тучный, да к тому же и подагрик, он от похода шибко умаялся и за-

спался. Камердинер едва его добудился.

— Ваше высочородие! Французы... Велено идти сейчас в атаку.

— В атаку? Одеваться!

При помощи камердинера он наскоро оделся, натянул большие сапоги со шпорами.

— Шубу!

Во внимание к его подагре, Захаржевскому разрешено было, не в пример другим, носить енотовую шубу. Сам великий князь при 25–30 градусах мороза ездит ведь верхом в спенсере сверх мундира, и ему подражает все офицерство.

Накануне, однако, был проливной дождь. Шубу своего полковника камердинер выворотил наизнанку, мехом вверх, чтобы дать ей просохнуть. Мех просох, но стоял еще щетиной. И вот, спросонья, камердинер подал шубу в таком вывороченном виде; сам Захаржевский второпях того тоже не заметил.

— Каску! Лядунку! Палаш!

Надел то, другое, третье и на коня. Выехал перед фронт своего дивизиона.

— Вперед марш-марш!

И в сем-то святочном наряде, коим в иное

время немалый бы смех возбудил, на неприятеля устремился, а за ним и весь дивизион рослых молодцов-кирасир помчался.

Французы-рекруты, не нюхавшие еще доселе пороха, выстроились было в каре. Да как нагрянули тут на них ураганом русские великаны и во главе их — огромный лохматый медведь с шашкой наголо, — от ужаса каре свое разомкнули и побежали, а отсталые оружие побросали, кричат: «Пардон!»

Но расскакавшиеся кирасиры не знали уже удержу, косят, знай, сплеча палашами направо да налево.

Узрел то издали государь, пришпорил коня.

— Стой, ребята! Они просят «пардона»; а лежачего не бьют.

Тем часом и остальная наша конница была пущена в ход и делала свое дело; а обошедшая кругом неприятеля кавалерия Блюхера взяла его в тиски. И целые колонны французов были зарублены и затоптаны... Зрелище потрясающее, страшно и вспомнить.

Как-никак победа была полная и благодаря одной лишь коннице; пехоте в этой баталии

и участвовать не пришлось. По подсчету убито и в плен забрано 11 тысяч человек, да орудий захвачено 75. Отныне никакая сила, ни чистая, ни нечистая (разумея под таковой Меттерниха и Шварценберга), нас уже не задержит до самого Парижа.

* * *

Замок Бонди, марта 17, полночь. Вот мы и у конечной цели — в семи верстах от столицы Франции! Прибыли мы сюда под вечер. Государь с генералитетом остановился в самом замке; мы, мелкота, — в надворных пристройках; армия же расположилась биваками по окрестностям.

Наполеон, как слышно, находится в Фонтенебло. Чтобы не дать ему подоспеть на помощь парижанам, положено уже с утра штурмовать высоты Бельвиля, Монмартра и Шомона, коими окружен город и на коих стоят его защитники. Отче Небесный! Без Твоей воли и волос с головы нашей не спадает. Умилосердись же над безвинными жителями, да и над нами, грешными...

* * *

Марта 18. Едва лишь рассвело, как нас уже

на ноги поднял отдаленный грохот пушек — привет штурмующим с высот парижских. Государь и генералы садились только что на коней, но не успели еще выехать из ворот замка, как разъездом был приведен пленный — саперный капитан, по фамилии Пейр, заблудившийся в нашей передовой цепи. На все вопросы государя о силах защитников города он отвечал уклончиво, относительно же настроения парижан уверял, что они будут биться до последнего.

— А кто у вас главнокомандующий?

— Главное начальство над Парижем император Наполеон вверил своему родному брату Иосифу, и он оправдывает это доверие!

— Один брат ради другого приносит в жертву последних защитников отечества! — воскликнул государь. — Но мы, союзники, ведем войну не с Францией, а с Наполеоном, и храброму, но малочисленному гарнизону Парижа, лишенному своего великого вождя, против нашей стотысячной армии, во всяком случае, дольше суток не устоять. Бог ниспослал мне власть и победу лишь для того, чтобы дать человечеству мир и спокойствие. Вот

мой флигель-адъютант, полковник Орлов. Поезжайте с ним к вашему главнокомандующему и потребуйте немедленной капитуляции: на штыках или церемониальным маршем, на развалинах или в нетронутых чертогах, но Европа ныне же должна ночевать в Париже.

Обратись затем к Орлову, государь разрешил ему везде прекращать огонь, где признает он нужным.

Миролюбие государя вначале, однако, не увенчалось успехом. Доехав с адъютантом великого князя, полковником Дьяковым и с капитаном Пейром через Пантен до наших стрелков, Орлов приказал им приостановить стрельбу. Точно так же и французы по сигналу трубача перестали стрелять и пропустили к себе своего соотечественника Пейра. Но как только двинулись вслед Орлов с Дьяковым, раздался залп, не ранивший, по счастью, ни того, ни другого. В тот же миг от неприятеля отделился взвод конных егерей и налетел на обоих, с тем, очевидно, чтобы захватить их в плен. Наши, разумеется, повернули коней и ускакали вон. Егеря же, в жару погони, домчались за ними в Пантен, занятый уже русски-

ми войсками, и сами попали в ловушку: окруженные со всех сторон, они волей-неволей должны были сдаться.

Между тем парижские высоты штурмовались и к пятому часу дня все, кроме Монмартра, оказались уже в наших руках. С этих же высот открылась теперь пальба по самому Парижу.

Тут и от маршала Мармона, занимавшего Монмартр, явился к государю парламентер с просьбою заключить перемирие.

— Огонь, извольте, будет временно прекращен, — ответствовал государь. — Но все войска ваши должны отойти за укрепленные заставы и тотчас же должна быть назначена комиссия для переговоров о сдаче города. В противном случае, еще до заката солнца вы не узнаете места, где была ваша прекрасная столица. Но главнокомандующий у вас ведь не маршал Мармон, а старший брат императора Наполеона?

— Он отбыл уже в Блоа и все права свои передал маршалу Мармону.

— А маршал со своей стороны дал вам полномочия?

— Полномочий у меня никаких нет...

— В таком случае вот флигель-адъютант мой поедет с вами к маршалу.

В ожидании возвращения Орлова, государь со свитой въехал на Бельвильские высоты. И залюбовался, а с ним и мы, штабные, на панораму Парижа, раскинувшуюся у наших ног.

Да, хорош город, что говорить: а все не то, что наша родная матушка-Москва с золотыми главами своих сорока-сороков церквей и монастырей! Давно ли, кажется, Наполеон на нее с Поклонной горы загляделся и воскликнул:

— Наконец-то вот сей славный город! Да и пора уже было...

То же самое мог бы теперь возгласить и наш русский царь над столицей французов, но не с злорадством завоевателя и поработителя, а с чистою радостью избавителя всей Европы от новейшего Тамерлана.

На случай упорства маршала Мармона, здесь же, на Бельвиле, были выставлены батареи, чтобы тотчас засыпать город градом ядер. Но в сем, к счастью, не было уже надоб-

ности. Орлов возвратился с ответом, что Мармон на все согласен, и что французским войскам отдан приказ покинуть город.

Тем не менее, когда приступили к переговорам, по какому-то недоразумению с Монмартра возобновилась пальба, и его пришлось взять штурмом.

Обошелся Париж союзникам не дешево — в 15 тысяч человек, всего больше, как всегда, русских да пруссаков.

Забрана немалая толика и пленных, но что за сброд, Бог Ты мой! Инвалиды, граждане-добровольцы в напудренных париках, мальчишки со школьной скамьи...

Только что зашел ко мне Сагайдачный.

— Ну, Андрюша, две новости. Первая для меня хоть и лестная, но малоприятная: меня откомандировали в помощь к главному казначею. Работы теперь гибель, а старик простудился; того гляди, что сляжет.

— А вторая новость?

— Вторая приятная для нас обоих, да и для всей армии: по случаю окончания кампании государь приказал выдать всем, не в зачет, кому двойное, кому и тройное жалованье...

Париж, марта 19. Все еще точно обман чувствий, сон наяву, что мы уже в «столице мира», как величают французы свой Париж!

Переговоры о его сдаче длились до 3-го часа ночи. По главному пункту договора город передавался «великодушию союзных монархов».

Уже на рассвете в Бонди прибыла в парадных каретах на поклон к государю депутация от парижан: два префекта, члены муниципалитета и представители национальной гвардии. Полковник Орлов пошел доложить о том государю, которого застал еще в постели. Прочитав капитуляцию, государь положил ее себе под подушку.

— Поздравляю тебя! — сказал он, — твое имя связано с великим событием.

Выслушав затем подробный доклад Орлова о ночном совещании, государь уснул, вон, чтобы вновь предаться сну, в коем крайне не нуждался после всех пережитых волнений и предстоявших еще впереди.

Проснувшись в 7-м часу, он вышел к депутатам и поручил им передать парижанам,

что вступает он в их стены уже не врагом, и от них самих же зависит найти в нем друга; но что есть у него во Франции единственный враг, к коему он будет неумолим.

Депутаты, со своей стороны, просили охранение спокойствия в городе предоставить национальной гвардии.

— Извольте, господа, — согласился государь. — В таком случае ваш прекрасный город мы не станем обременять даже постоем: войска наши расположатся за городом. Одно-го только я требую — жизненных припасов для армии. Ближайшие меры для соблюдения общественного порядка в городе будут ныне же установлены моим канцлером графом Нессельроде с главою вашего временного правительства, князем Талей-раном Беневентским.

После депутации просил у государя аудиенции Ко-ленкур, прискакавший от Наполеона из Фонтенебло. Наполеон готов был теперь принять мирные условия, которые раньше отвергал. Но государь, без праздных слов, парламентарю наотрез объявил, что входить в какие-либо соглашения с человеком, опусто-

шившим Европу от Москвы до Кадикса, ни сам он, государь, ни его союзники не станут.

— Покорение Парижа, — сказал в заключение государь, — необходимое достояние русских летописей. Русские не могли бы, не краснея, раскрыть славной книги своей истории, если бы за страницей, где Наполеон изображен стоящим среди пылающей Москвы, не следовала страница, где Александр является среди Парижа.

Так Коленкур и отъехал, не солоно хлебавши.

Было восемь часов утра. Небо было безоблачно, и солнце в полном блеске. Государь сел на свою светлосерую лошадь Эклипс и двинулся со свитой к Парижу, в одной версте от коего его ожидали уже король прусский и гвардия.

И врата «столицы мира» перед ним растворились, и при громе барабанов, при стройных звуках труб и флейт, совершился торжественный въезд: впереди гвардейская кавалерия прусская и наша легкая; за ними оба монарха с главнокомандующим и блестящей тысячной свитой; далее гренадеры австрийские и

русские, гвардейская пехота, кирасиры и артиллерия. Однако наши гренадерские полки после вчерашнего штурма заметно поределли: под ружьем в иных осталось не более 300, в других всего 200 человек, а у многих офицеров руки были в повязках. Сагайдачный, с которым я ехал рядом, кивнул мне на них:

— Этакая повязка почетнее всяких аксельбантов; даже завидно!

Я ничего на то не ответил, только глубоко в глаза ему заглянул, — и он понял, до ушей покраснел и отвернулся: вспомнил тоже про свою собственную повязку, коей прикрыл не боевую рану, а ушиб конским копытом.

В Париже все улицы по пути шествия были уже запружены праздничной толпой; немало любопытных взобралось и на крыши. И дивное дело: ни одна душа, казалось, о сдаче города не горевала. Везде одни веселые лица, со всех сторон приветственные клики:

— Виват Александр! Виват союзники! Государь же в ответ:

— Не врагом я являюсь к вам, а другом. Приношу вам мир и торговлю.

Народ рукоплещет и ликует:

— Да здравствует мир! Мы вас давно ожидали.

— Не моя вина, что я так запоздал, — говорит государь, — виновата в том храбрость ваших войск.

Тут восторгу толпы не было уже пределов: мужчины, женщины, дети — все наперерыв старались к нему протесниться, чтобы рукой хоть к нему прикоснуться; ближайшие же ему руки и платье целовали. А стоящие дальше вытягивали шею, чтобы лучше его видеть, махали шляпами, платками, зонтиками, голосили на все лады: «Vive! Vive!»

— Что за легкомысленный народ эти французы! — говорит один наш офицер другому, — от всякой искры воспламеняются, как порох.

— До сих пор они были как в дурмане от Наполеонова злого гения, — говорит другой. — Теперь они отрезвились и счастливы, как дети.

На все время пребывания государя в Париже Та-лейран предложил в его распоряжение свой роскошный дворец, куда после церемониального марша в Елисейских полях его величество в пятом часу и отбыл.

Тут и мы с Сагайдачным спохватились, что, за весь день без вкушения хлеба и воды оставаясь, не обрели себе еще и пристанища. Засим в ближайшей ресторации насытятся весьма исправно, отправились каждый своей дорогой: он — к новому своему шефу, главному казначею, а я — к сестре сержанта Мушерна, адрес коей от него еще в Толбуховке получил.

— Позвольте спросить, — говорю, — не вы ли мадам Жаннет Камуфле?

— Я самая, — говорит.

— Так я вам от брата вашего Этьена Мушерна из России поклон привез.

— От Этьена? Он, стало быть, еще жив? Пожалуйста, мосье, пожалуйста.

Впустила меня в дверь, усадила, расспрашивает. Стал я ей рассказывать...

— И что же, — говорит, — он так-таки, значит, во Францию к нам уж и не вернется?

— Не вернется: изверился в Наполеоне.

— Ох, да! А сынок-то мой Габриэль все еще Наполеоном бредит, хоть и кровлю из-за него истекает.

— Ранен тоже?

— И как! Принесли мне его товарищи-школьники с Монмартра как бы бездыханного. Перевязала я ему раскрытую голову, как умела, побежала за доктором... Помирать в такие годы!..

— А сколько ему лет?

— Да четырнадцать всего о Рождестве минуло.

— И доктор не подает уже надежды?

— Обнадеживает, да почему знать?.. И бедная мать заплакала. Чтобы отвести ее мысли от сына, я спросил ее насчет билетиков на окнах. Оказалось, что у нее свободны две комнаты, а во дворе пустоует конюшня, как раз то, что и нужно было нам с Сеней, с нашими конями и денщиками.

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

Наполеон свергнут. — Встреча с партизаном Давыдовым. — Смотр конной гвардии. — Страстная неделя и Пасха. — «Севильский цирюльник»

* * *

Марта 20. Наградные мои, увы, улыбнулись! Сагайдачному удалось вчера достать для себя билет на парадный спектакль: давали новую оперу «Траян», нарочито приспособленную для прославления государя. Из театра же товарищи затащили его в какой-то игорный притон, из которого домой он возвратился только позднею ночью. Сегодня поутру пришел ко мне с повинной.

— Так и так, — говорит. — Мне чертовски не везло! Сперва я спустил свое жалование и свои награды, а потом... прости уж, душа моя!..

— Потом и мои?

— И твои, да. Рассчитывал отыграться. Что поделаешь! Но я их тебе верну при первой возможности, непременно верну. Однако,

мой старикашка ожидает меня уже в казначейской. До свидания.

И вылетел вон, как ветер, который в голове у него гуляет. Денег моих мне не так уж жаль; от прежних еще столько осталось, чтобы платить хозяйке. Но на развлечения всякого рода придется уж крест поставить.

Завернул в штаб. Вчера еще, оказывается, у государя было совещание с Талейраном, какое правительство дать французам. По мнению Талейрана, выбор может быть только между Наполеоном и королевским Домом Бурбонов, главою коих является ныне Людовик XVIII. Государь не желал ни того, ни другого; но в заключение все-таки согласился предложить здешнему сенату учредить временное правительство, с тем чтобы в особой прокламации к народу, без упоминания Бурбонов, между строк все же всякому понятно было, что вот кто должен быть на французском престоле. Прокламация с утра уже расклеена по углам улиц.

А мальчишки-газетчики на тех же углах выкрикивают:

— Песня французов о русских — один су!

Как не расщедриться на су за такую песню? Вот она:

*Que j'aime a voir sur ces bords
Les fiers enfants de la Russie!
Parmi nous ces enfants du Nord
Ne seraient-ils pas dans leur patrie?
Fiers et terribles dans le combat,
Grands, genereux, pleins de vaillance,
A ce titre ne sont-ils pas
Les meilleurs amis de la France?[2].*

И дружелюбие к нам во всем сказывается: даже калмыкам нашим и башкирам, шатающимся по Пале-роялю, щеголихи-парижанки приятно улыбаются, а на рослых красавцев-преображенцев и семеновцев, кавалергардов и конногвардейцев не налюбуются:

— О, ле бо з'ом!

...Сейчас только возвратился из театра. Муравьев, милый человек, достал мне даровой билет. Должен был идти опять «Траян», но перед самым началом спектакля вышел актер и объявил, что вместо «Траяна» дадут «Весталку». Публика сперва вознегодовала, давай топтать ногами, стучать палками, кричать: «Траяна»! «Траяна»! Но когда тот же актер прибавил:

вил, что это сделано по собственному желанию императора Александра, — все разом стихло. При входе затем государя с прусским королем поднялся опять невообразимый шум, нескончаемые «Vive! Vive!». Когда же государь покинул театр, приверженцы королевского Дома Бурбонов, так называемые «роялисты», влезли в императорскую ложу и сорвали с оной Наполеонова орла.

* * *

Марта 21. Наполеон со всем своим семейством объявлен лишенным права на французский престол; сенаторам же государь на приеме, заявил, что в доказательство прочного союза своего с Францией возвращает всех пленных французов, находящихся в России.

Сегодня государь снизошел, наконец, принять Коленкура.

— Наполеон несчастен, — сказал он, — и сей минуты я прощаю ему все зло, причиненное им России. Лично он может требовать для себя все, что угодно. Если бы он пожелал поселиться в моих владениях, — милости просим. Если же нет, то ему будет предоставлен в полное владение остров Эльба. Ему будет оказан

всякий почет. Я не забуду, что должен воздать человеку столь великому и столь несчастному.

Нагулявшись в Тюльерийском саду, пошел я взглянуть на Дом Инвалидов. На площади расхаживают наши русские воины рука об руку с французскими инвалидами. И в беседе с ними кого же я вижу? Прежнего шефа моего, партизана Давыдова! И он мне как будто обрадовался.

— Ба-ба-ба! — говорит. — Пруденский!

— А вас, Денис Васильевич, — говорю, — с генеральскими эполетами поздравить можно?

— Да, заслужил генерал-майора в бою под Бриенном. Служу теперь под Блюхером и командую родным своим Ахтырским гусарским полком. Блюхер — вот истинный полководец! Не то что эти «гофкрихсшнапсраты», как прозвал австрийских военачальников еще великий наш Суворов.

— Кампания, однако, — говорю, — уже кончилась, и вы тоже возвращаетесь в Россию?

— Кончилась, батенька, кончилась! Придется умирать, пожалуй, в постели, а уж это

для нашего брата последнее дело!

*Я люблю кровавый бой,
Я рожден для службы царской!
Сабля, водка, конь гусарский,
С вами век мне золотой!
Я люблю кровавый бой,
Я рожден для службы цар-
ской!*

— Да! Гусары и казаки! — вздохнул Давыдов. — Проезжаю я вечер Елисейскими полями; под деревьями костры бивачные, на кострах в котлах каша варится, а вокруг молодцы-казаки, на бурках лежа, песнями заливаются... Совсем наша матушка Россия... Тут подошел другой генерал.

— Что нового? — спрашивает его Давыдов.

— Да слышали вы про конногвардейцев?

— А что такое?

— Отличились! Великий князь наш ведь гордится так блестящим видом своих любимцев и хотел хвастнуть ими перед французскими маршалами. Вчера вечером был отдан приказ быть всем на ученье сегодня к 11-ти часам утра. И вот, ровно в 11 выезжает на ученье полк, эскадрон за эскадроном, но перед

каждым одни только вахмистры да унтер-офицеры.

— А полковой командир — генерал Арсеньев? А офицеры?

— Командир-то был налицо, но офицеры, кроме дежурных, еще с вечера разбрелись все по городу, кто куда, да так до утра ни один домой к себе не возвратился.

— То-то, я думаю, его высочество разгневался! Ведь темперамент у него такой горячий...

— Еще бы! «Всех офицеров, — говорит, — на гауптвахту на две недели!» Одна надежда теперь на государя: он, верно, поговорит с братом и сложит гнев его на милость. Все мы — люди, все — человеки, а в Париже молодежи как не замотаться?

— Этот вот не замотался, — говорит Денис Васильевич, кладя мне руку на плечо. — Или как?

— До сих пор нет, — говорю.

— Да и впредь, дай Бог, чтобы не было, — говорит другой генерал.

А Денис Васильевич:

— «Дай Бог» — хорошо, а «слава Богу» —

лучше. Поцеловал меня в лоб, как сына, и крестом осенил.

— Ну, ступай с Богом.

* * *

Марта 22. Вербное воскресенье. Православное богослужение в католической церкви. К завтрашнему дню выйдет Высочайший приказ о том, чтобы войска наши говели, а офицеры на Страстной неделе не бывали в театрах и иных шумных собраниях.

* * *

Марта 23. Государь, который тоже говеет, горевал о том, что не может исповедаться в православном храме. И вот, к немалой его радости, оказывается, что бывшая русская польская церковь при отъезде нашего последнего посла взята на сохранение американским посланником. Теперь ее перевели в дом, соседний с талейрановым, соединили оба дома переходом, и государь имеет возможность всякий день ходить в церковь.

* * *

Марта 24. Наполеон подписал отречение от престола, но только для себя одного, и прислал своих маршалов для переговоров, чтобы

вместо правления Бурбонов было установлено регентство супруги его Марии-Луизы впредь до совершеннолетия их сына, короля римского. Но государь отклонил это предложение и повторил Коленкуру, что Наполеону с его семейством отдается остров Эльба. На поселение, значит. Бог долго ждет, да больно бьет!

* * *

Марта 25. Целый день дома просидел, матушке длинное письмо написал (Ириша, верно, его тоже прочтет); вечером же отстоял всенощную в посольской церкви, где от многолюдства яблоку негде упасть было. Перед исповедью государь с трогательным смирением у всех прощения просил. За ним великий князь исповедался, генералы, а напоследок и мы, меньшая братия! И сколько горячих молитв тут к Богу воссылалось!

* * *

Марта 26. Причащались, а вечером слушали 12 Евангелий.

* * *

Марта 27. На вечерне, в 4 часа дня, прикладывались к плащанице.

Еще в первые же дни по прибытии в Париж хотел заглянуть к больному сынку хозяйки. Но мать к нему не пустила.

— Доктор, дескать, отнюдь не велит его беспокоить.

Когда же я сегодня заговорил о том же, она объявила мне уже напрямик:

— Простите, мосье, но Габриэль мой не может слышать о людях, которые лишили престола его обожаемого императора.

— Ну, что же, — говорю, — я чувства его понимаю.

* * *

Марта 28. Простояв обедню, отправился с другими офицерами на Вандомскую площадь, где среди великого стечения народного статуя Наполеона с колонны снималась. Припаяна она была столь прочно, что рабочие никак с нею справиться не могли. В конце концов веревку на шею статуе накинули и таким-то манером вниз ее стащили, а на место ее белое знамя с тремя бурбонскими лилиями водрузили.

И толпа любопытных кругом глазела на это, как на всякое уличное зрелище, не выра-

жая ни горести, ни возмущения.

* * *

Марта 29. Светлое Христово Воскресение.
Что за день! Вознести к Всевышнему молитвы на торжественной обеде в посольской церкви пришли не только свои, русские, но и король прусский, наследный принц виртембергский, князь Шварценберг и генералы всех союзников. После же обеда государь нас к себе во дворец разговеться пригласил, с каждым христосовался и затем объявил, что все награды, представленные ему князем Волконским, им подписаны.

— И вас, господа корнеты, могу поздравить со следующим чином, — сказал Волконский мне и Сагайдачному.

Я готов был его расцеловать; но так как субординация сего не позволяла, то облобызал Сеню.

— Что за телячьи нежности? — говорит. — Нашел место!

— Да сам-то ты, — говорю, — разве не счастлив?

— Экое счастье! Обойти меня все равно не могли. Ты, вот, другое дело...

Ему словно обидно, что меня, диаконова сына, с ним, племянником министра, на одну доску поставили.

После завтрака был еще парад, а после парада на площади Согласия (той же самой, где пала глава несчастного Людовика XVI) служили благодарственное молебствие за взятие Парижа и возвращение Бурбонов, с пушечной пальбой и при радостных восклицаниях населения:

— Да здравствует Александр I! Да здравствует Людовик XVIII!

Набожно преклоняли колена и прикладывались ко св. Кресту не одни православные, но и французские маршалы и генералы; а государь, по русскому обычаю, обнимался с ними и христосовался, и у всех-то у них на глазах были слезы умиления.

И у меня тоже; а мысли нет-нет все к тому же возвращаются — к моему новому чину: подпоручик!

Ирина Матвеевна! Честь имею вас тоже поздравить: станете однажды подпоручицей, а там когда-нибудь, с Божией помощью, ежели не полковницей, то хоть майоршей.

Марта 30. Уполномоченными Наполеона, его именем, договор подписан, коим он навсегда за себя и за все свое семейство от французского престола отрекается. Из Фонтенебло к месту ссылки он отбывает 8-го числа апреля.

Часа три проходил я вчера по картинной галерее Лувра и половины зал еще не просмотрел. Что за чудеса искусства! А вечером Сеня меня в комедию затащил на «Севильского цирюльника» г-на Бомарше. Вещь преотменная по веселости и остроумию. Ну, да и французские актеры эти играют, точно это не служба у них, а забава. Всех лучше, однако, был сам цирюльник Фигаро. Не мы одни с Сеней — и соседи наши, парижские буржуа, покатывались со смеху. И говорит тут в антракте один другому:

— А ведь Наполеон-то чуть было тоже раз в «Севильские цирюльники» не попал. Когда он воевал с испанцами и осаждал Севилью, то объявил коменданту города: «Даю вам три дня сроку. Буде и тогда город еще не сдастся, то я его до корня обрею». — «Этого ваше величество не сделаете, — говорит комендант. —

Потому что ко всем вашим титулам вы не захотите прибавить еще титул „Севильского цирюльника“.

И рассказчик первый же захохотал над своим анекдотом; товарищ его за ним. Меня взорвало, а Сагайдачный прямо так и ляпнул:

— И где у вас совесть, господа? Давно ли вы, французы, кричали своему Наполеону: „Вив л'амперёр!“ А теперь, когда фортуна от него отвернулась, вы глумитесь над ним? Нам, иностранцам, за вас стыдно!

Оба насмешника готовы были, кажется, огрызнуться; но видят, что имеют дело с русским офицером, и прикусили язык, тихомолком встали с мест и вон поплелись.

— Вот за что спасибо, брат, так спасибо! — говорю я Сене. — Отбрил их лучше всякого цирюльника.



ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

Запорожская кровь. — Как граф де Бриенн распорядился своим наследством

* * *

Апреля 2. Ох, уж этот Сеня, Сеня! Во втором часу ночи стучится, ломится ко мне в дверь:

— Впусти!

— Да чего тебе? — говорю. — Разбудил среди лучшего сна...

— Впусти, ради Бога!

Делать нечего, зажег свечу, впустил. На нем лица нет, глаза как у полоумного.

— Что с тобой? — говорю. — Что случи-

лось?

— Проигрался в пух и в прах...

— Да ведь у тебя и капиталов-то для игры не было?

— То-то и беда: отыгрался бы. Пришлось играть на мелок.

— Но как ты вообще мог играть без денег?

— Запорожская кровь! Упреками, брат, ты мне не поможешь. Если я к утру не расплачусь, то хоть снимай офицерский мундир. У тебя, Андрюша, должны быть ведь еще деньги из Толбуховки?

— Да, благодаря им, я месяц-другой пробыюсь...

— Так одолжи-ка мне их! Да кроме того, у тебя, знаю, имеются еще какие-то заветные «на черный день», которых ты почему-то не хочешь трогать. Но теперь такой «черный день», если и не для тебя, так для меня настал...

— Да этих у меня всего девять полуимпериалов...

— Только-то?.. А толбухинских сколько?

— Франков двести, не больше.

— Гм... Ну, что ж, как-нибудь обойдусь. От-

казать значило: взять грех на душу, погубить, пожалуй, человека. Ничего уже не говоря, высыпал я ему на стол из кошелька всю свою личность, потом и полуимпериалы Иришины из ее бисерного кошелька. Он сгреб все в карман и крепко потряс мне руку.

— Никогда, брат, не забуду твоей услуги!

— Хорошо, — говорю, — что так еще кончилось. Но кончилось-то хоть и хорошо, да вовсе не так, как я думал.

Едва я поутру раскрыл глаза, не успел еще и одеться, как опять стук в дверь и голос Сагдачного:

— Что, все еще не встал? Отопри-ка.

Встал я, отпер ему дверь, а он обхватил меня обеими руками и давай кружиться со мной по комнате, припевая новейшую песенку Беранже:

*Les gueux, les gueux
Sont les gens heureux;
lis s'aiment entre eux.
Vivent les gueux![3]*

— Ты пьян, Сеня... — говорю.

— Пьян, голубчик, совсем пьян, только не от вина. Не было гроша, да вдруг алтын!

И, достав из кармана туго набитый кошелек, высыпал на стол кучку золотых.

— Ты, Сеня, все-таки играл опять?

— Играл, душенька, и отыгрался. Вот твои полуимпериалы «на черный день»; вот то, что у тебя оставалось от толбухинских, а вот твое жалованье и твои наградные. Ну, а теперь покаюсь тебе, как было дело.

И поведал он мне, что вчера со службы должен был отвезти сорок тысяч франков за город одному полковому казначею, который по болезни не мог сам прибыть за ними. Но, проголодавшись, он завернул сперва в Палероэль пообедать, а бывшие там приятели за-тащили его опять в игорный дом.

— И ты играл на казенные деньги? — ужаснулся я.

— Не сейчас, Боже упаси. Сперва я занял у партнеров. Но банкometу, одному французскому графу, чертовски везло: он бил у всех нас карту за картой. Занять еще мне было уже не у кого. И вот, сам не могу понять, как это случилось: видно, запорожская кровь; рука моя невольно залезла в карман за первым казенным наполеондором; потом за вторым и

так далее. Очнулся я только тогда, когда от всех сорока тысяч ничего не осталось. Вся надежда моя была на тебя. Я поехал к тебе, разбудил тебя, и ты меня выручил, да, как видишь, не напрасно. С первой же карты, на которую я поставил из твоих «заветных», счастье изменило графу. Банк его таял и таял, пока не был взорван. Тогда я перенял игру, и граф сам стал играть уже на мелок. Прочие партнеры, отыгравшись, один за другим убрались вон.

— Не пора ли и нам покончить? — говорю я графу. Стали мы с ним сводить счета. Оказалось, что он должен мне сорок тысяч франков — как раз то, что мне и нужно.

— В 9 часов утра, — говорит он, — я пришлю вам чек на мой банкирский дом, а пока вот вам моя расписка. И на обороте своей визитной карточки расписался.

— А он тебя не обманет? Который теперь час? Сагайдачный посмотрел на часы:

— Половина десятого!

— Ну, вот. Он вовсе и не пришлет тебе никакого чека. Покажи-ка его карточку.

Он подал мне ее. И какое же имя я прочел

на ней? «Comte Charles-Louis Lomenie-de-Brienne».

— Ну, счастлив же ты, Сеня! — воскликнул я и вздохнул с облегчением.

— А что?

— Да у меня с этим графом де Бриенном тоже свои счета. Кое-где я уже справлялся о нем, может, и не там, где следует; но никто не мог указать мне его адреса.

— Да какие у тебя могут быть с ним счета?

— А такие, что я должен возвратить ему дядюшкино наследство, и из этого-то наследства я уплачу тебе теперь его долг.

И, достав со дна моего чемодана несколько свертков с двойными луидорами, я отсчитал на стол сорок тысяч франков.

— Вот, получи, а я возьму эту карточку и буду иметь дело уже с самим графом.

— Да объясни мне на милость, откуда в твои руки могло попасть это наследство?

Когда я ему тут в коротких словах рассказал про свою находку в Бриеннском замке, Сагайдачный руками развел.

— Да ты, милый мой, просто с ума спятил! Эти деньги — твоя военная добыча...

— С твоей запорожской точки зрения. Для меня, прости, всякая чужая собственность священна. А теперь поезжай-ка в тот полк, куда тебе надо было отвезти сорок тысяч франков.

— Сейчас поеду. Я тебе так благодарен, дружище...

— Благодарность свою ты лучше всего докажешь, если перестанешь играть в карты.

— Но это — такое лишение...

— Не согласен? Ну, так давай-ка сюда назад графские деньги. Я отвезу их ему с остальными, а ты разделявайся уж с ним, как знаешь.

— Нет, брат, шалишь! Не отдам. Уж лучше отказаться от карт.

— То-то же. А кстати, отказаться бы тебе и от казначейских обязанностей.

— Чтобы соблазну никакого не было? И сам я об этом уже подумывал.

— А теперь решишь.

— Решаюсь. Сегодня же сделаю заявление.

На этом мы расстались. Прождал я еще, на всякий случай, час времени, не пришлет ли де Бриенн чека; так и не дождался. Тогда я по-

просил хозяйку одолжить мне ее сак, уложил туда остальное бриеннское наследство и поехал по адресу, показанному на карточке наследника.

Камердинер в ливрее и преважного вида не хотел было пустить меня и в переднюю.

— Граф-де нездоров и никого не принимает.

Но золотой ключ отворил мне вход. На стук камердинера в дверь графского кабинета оттуда послышался сердитый голос:

— Это ты, Жак?

— Я, ваше сиятельство. Русский офицер желает вас непременно видеть.

— Сакр-Дие! Сказано ведь тебе, что я-то никого не хочу видеть.

Тут уж и я голос подал:

— Я к вам с деньгами, г-н граф.

— За деньгами?

— Нет, с деньгами, с вашими собственными.

— С моими? Да откуда они могли у вас взяться?

— Примите меня; тогда я вам все объясню. Замок щелкнул, и дверь отворилась.

— Войдите.

Я вошел и замкнул опять дверь за собою на ключ.

— Это зачем? — удивился граф.

— Затем, чтобы ваш Жак непрошено не вошел к нам. С сухою вежливостью он указал мне на стул и сам сел против меня. Тут только, когда лицо его было обращено вполоборота к свету, я разглядел его: мужчина уже пожилой, волосы с проседью, лицо изможденное, глаза впалые, с лихорадочным блеском. От бессонных, видно, ночей за проклятыми картами. При всем том настоящая аристократическая осанка, исполненная достоинства.

— Первым делом, — говорю, — позвольте возвратить вам эту вот расписку в сорока тысячах франков, которые вы проиграли моему приятелю, подпоручику Сагайдачному.

— Да ведь она еще не уплачена?

— Уплачена из вашего же наследства после покойного вашего дяди-кардинала.

И я изложил ему уже более подробно, чем перед тем Сагайдачному, всю историю моей находки в Бриеннском замке. Сначала он меня слушал сдержанно и с гордым видом, но,

понемногу, он заметно заволновался, а когда я кончил, он, не владея уже собой, вскочил со стула и, ероша волосы, зашагал взад и вперед по комнате. Потом вдруг остановился передо мною.

— Но в потайном ящике за книгами, говорите вы, было ведь не сорок тысяч франков, а больше?

— Да, всего шесть тысяч двойных луидоров. Одна тысяча пошла на погашение вашего карточного долга, а остальные пять тысяч позвольте теперь передать вам.

И, выгрузив из сака на стол все свертки, я расставил их правильными рядами.

Граф де Бриенн, все еще как бы не смея верить, развернул один сверток; но руки у него так дрожали, что золотые покатались по столу.

— Золото, правда... — пробормотал он, — и все двойные луидоры....

— Так же, как и во всех этих свертках, — сказал я. — Всех их пятьдесят и в каждом по сто двойных луидоров. Потрудитесь пересчитать.

Окинув ряды столбиков быстрым взгля-

дом, он убедился в верности счета.

— А себе вы ничего не оставили? Или, может быть, кроме этих, в потайном ящике были еще деньги?..

— Вы забываете, граф, что говорите с офицером! В лице и голосе моем выразилось, должно быть, такое неподдельное возмущение, что граф поспешил извиниться:

— Простите, мосье; но столь редкое бескорыстие... Вы сами, верно, очень богаты?

— Напротив: кроме казенного жалованья, у меня нет никаких собственных средств.

— Удивительно! Вы, конечно, тоже высокого происхождения?

— Нет, я даже не дворянин.

— Непостижимо!

И опять заходил из угла в угол. Потом круто вдруг обернулся.

— Скажите: какие это на вас ордена?

— Это вот — прусский железный крест за Кульмскую битву, а это — наш русский Георгиевский крест за неприятельское знамя, которым я завладел под Лейпцигом.

— Значит, при всей своей молодости, вы успели уже выказать большую храбрость и

врожденное благородство. Ведь и родоначальники моего семейства заслужили свой графский титул своими рыцарскими качествами. Род наш один из самых древних... Только герцоги, графы и бароны Монморанси древнее нас, — прибавил он с презрительной усмешкой, — они ведут свой род ведь еще со времен допотопных.

— Как так?

— А так, что в гербе их изображен потоп и Ноев ковчег; к ковчегу подплывает кавалер в рыцарских доспехах и подает Ною пергаментный сверток с надписью: «Мосье Ной, благоволите принять на хранение документы фамилии Монморанси». Остроумно, не правда ли?

— Не столь, — говорю, — остроумно, сколь тупоумно.

— Именно, что так. Нет, мы, де Бриенны, стали известны только со времен крестовых походов, но рыцарский дух в нас до сих пор не угас. Вы, мосье, без всякого понуждения, сами от себя, по таким же рыцарским только склонностям своим, явились ко мне, чтобы возвратить законному наследнику наследие

предков. Позвольте же и мне, последнему отпрыску рода де Бриеннов, отплатить вам тем же. У вас, в России, какую часть найденного полагается выдавать нашедшему?

— Сколько мне известно, третью часть.

— Ну, вот. Всего вы нашли в потайном ящичке шесть тысяч двойных луидоров. Стало быть, две тысячи, по полному праву, принадлежат вам.

Видя мое смущение и колебание, он сам отделил мне двадцать свертков.

— Берите, берите, пока я еще не раздумал. Все равно сегодня же поставлю на карту.

— Вот что, г-н граф, — сказал я. — Для себя я этих денег ни за что не возьму, но в России у меня есть невеста.

— Бесприданница?

— Да...

— И прекрасно. Пускай же это будет ей от меня приданым.

И вот, я опять в своей комнате у мадам Камуфле, и предо мной груды золота — благоприобретенное, неоспоримое приданое Ириши. И может она хоть сейчас под венец идти... Исайя, ликуй!

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ

Мамоновцы не унимаются. — Приезд нового монарха французов и проводы старого. — Бриллиант в каблуке

* * *

Апреля 9. Чего-чего я здесь не перевидал! Был и на гобеленовой фабрике, съездил в Версаль посмотреть на знаменитые фонтаны, а в Лувре и Зоологическом саду столько раз перебивал, что и идти уж неохота. Ни на что бы не глядел, лишь бы домой к себе в Россию вернуться. Но задержка за новым королем французов Людовиком XVIII, который от низверженного Наполеона все еще в Англии спасается. У страха глаза велики.

* * *

Апреля 13. В главном штабе, где граф Дмитриев-Мамонов давно уже притча во языцах, получен от него рапорт из великого герцогства Баденского. Жалуется, вишь, в своем рапорте на насилия, чинимые будто бы ему и казачьему полку его местными жителями и властями. Но в штабе из того же рапорта вы-

читали, что первым зачинщиком всяких безобразий и насилий были они же, мамоновцы, и их командир. Посему ему посылается прегорькая, непозлащенная пилюля — строжайший выговор. Как-то он его еще проглотит? Не поперхнулся бы.

* * *

Апреля 20. Людовик XVIII покинул, наконец, Англию и остановился в Компьене, куда государь наш и съездил его приветствовать. Казалось бы, что встреча со стороны нового короля, возведенного на престол праотцов лишь великодушием русского царя, должна бы быть самая любезная. Между тем своего благодетеля он принял сидя сам в кресле, а ему только стул предложил. И ни слова ведь признательности: говорил лишь про Всеблагой Промысел Божий, да про свои собственные «непреложные» права. Гордыня обуяла!

Вся свита царская была страшно возмущена. Сам же государь в неизречимой доброте своей только плечами пожал:

— Король — человек больной и дряхлый: неудивительно, что он сидел в кресле. Но на его месте я все-таки приказал бы подать и го-

стю кресло.

* * *

Апреля 21. Новый король у себя в столице. Въехал в золоченой карете и с ним герцогиня Ангулемская, герцоги Конде и Бурбонский. Вид у него не то чтобы горделивый, наполеоновский, а напыщенный, словно кичится он своей толщиной непомерной. Вкруг кареты приверженцы его толпились, — на шляпах белые кокарды, в руках белые знамена, — и без передышки кричали: «Да здравствует король Людовик XVIII!»; ну, и народ, как водится, сии крики подхватывал. Но восторг был все же как бы подогретый, не то что при въезде императора Александра, которого они куда бы охотней, полагаю, провозгласили и своим императором.

В соборе Парижской Богоматери, отстояв молебен, король принял парад своих родных войск. Но мундиры у французских солдат походные, поношенные (парадных, знать, сшить еще не успели), а на изнуренных, усталых лицах не радость, а грусть затаенная написана. По великом полководце своем Наполеоне еще грустят!

Уверился я в том воочию на девере моей хозяйки, брате покойного ее мужа, Филиппе Камуфле. Служив до сих пор в Наполеоновой старой гвардии капралом, он с остатками оной из Фонтенебло в Париж прибыл, чтобы служить отныне новому монарху.

Со слезами поведал он нам: мне, хозяйке и сыну ее Габриэлю, выползшему, наконец, тоже с повязанной еще головой из своей раковины, — как низложенный император 8 числа в Фонтенебло с ними, старыми гвардейцами, прощался.

Выстроились они во дворе тамошнего дворца. Вышел он к ним бледный, расстроенный.

— Старые мои боевые товарищи! — возгласил он, и голос его дрогнул. — Неразлучные донныне друзья мои по пути чести! Пришло нам время расстаться. Мог бы я пробыть еще с вами, но к войне с чужеземцами прибавилась бы еще война народная, а терзать долее мою Францию нет у меня сил. Обо мне не печальтесь. У меня есть еще своя обязанность — рассказать потомству о всем том великом, что мы вместе с вами совершили. Мне дозво-

лено из ваших рядов взять с собой в изгнание 600 человек. Кто желает разделить мою горькую участь — выходи вперед.

И все его боевые товарищи до единого рванулись вперед.

— Благодарю вас, друзья мои! — сказал он. — Придется, видно, самому мне сделать выбор.

И, обходя ряды, он перстом указывал одного, другого, третьего, десятого. Так набрал он себе сотню за сотней.

— Посмотрим, — говорит, — есть ли уже полное число?

— Недостает, ваше величество, еще двадцати человек, — заявил генерал Друо.

Дополнив еще двадцатью шестую сотню, Наполеон отобрал к ним унтер-офицеров и офицеров.

— Остальных, Друо, ты отведешь в Париж к Людовику XVIII после моего отъезда.

Сказал и возвратился во дворец. Дорожные кареты стояли уже во дворе. Старая гвардия, однако, все еще не трогалась с места. И вот, он снова показался на крыльце со всем своим штабом.

— Товарищи! — сказал он. — Мне хотелось бы каждого из вас заключить в объятия. Ваше знамя являет вас всех. Дайте же мне обнять его.

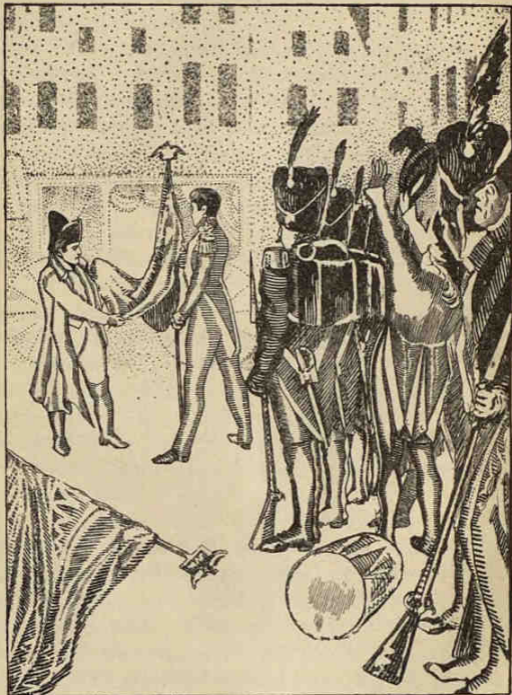
И, сойдя с крыльца к знаменосцу, генералу Пти,

державшему в руках знамя старой гвардии, он прижал к груди знамя, а потом самого знаменосца. Тут кругом поднялся общий стон и вопль, а он кинулся к карете...

— Так вот как прощался он с нами, наш полубог... — заключил свой рассказ старый гвардеец и всхлипнул. — Все мы готовы были идти опять за ним хоть на край света и лечь за него в могилу... А здесь, в Париже, народ уже забыл, что он на весь мир нашу Францию прославил; никто не горюет, все радуются, что дали им нового короля: «Да здравствует король!»

Мадам Камуфле горестно головой покачала.

— Всему, — говорит, — свое время — и славе, и горю. Ведь когда неприятели обложили со всех сторон Париж, у нас и съестных припасов-то почти не оставалось; хоть ложись и с



Наполеонъ прощается со своей старой гвардией.

голоду помирай. Кому уж тут до прошлой славы? Ту касс, ту ласе, ту пасс! (все, мол, ломается, все истощается, все кончается! Или по-нашему: перемелется — мука будет).

А сын ее, Габриэль, как глазами сверкнет и воскликнет:

— О, мама, мама! И это говоришь ты, старая патриотка? Забыла уж, как по всему городу ходили по рукам патриотические песни, как маршал Монсе с национальной гвардией всех граждан к оружию призывал, как, вняв ему, даже седовласые инвалиды и безусые школяры шли кровь свою проливать для защиты родного Парижа? Сама же ведь ты благословила меня на Монмартр, а когда меня принесли оттуда с разбитой головой, не ты ли меня еще целовала и благодарила... О, мама!

И с таким восклицанием из очей мальчика слезы градом брызнули. Тут старая патриотка, пристыженная сыном, тоже прослезилась, руки к нему протянула.

— Прости, дорогой мой, прости!

Но дядя его к себе привлек и в объятиях сжал.

— Молодец, Габриэль! Ты — настоящий Ка-

муфле! И оба, на плече друг у друга, зарыдали. А мать, опустив втуне протянутые руки, в три ручья залилась. Мне, неприятелю, среди них не было, конечно, уже места, и я тихомолком выбрался вон. Но, признаться ли? При виде столь пламенной любви к родине, и меня вчуже слеза прошибла... Язык уж не поворачивается проклинать великого Корсиканца...

* * *

Апреля 26. В ответ на посланное из штаба графу Мамонову предписание прекратить бесчинства его казаков в дружественных нам баденских владениях он рапортом, в свое оправдание, о больших еще беспорядках в местечке Вилингене доносит, вызванных, будто бы, не его казаками, а самими жителями местечка: из окон своих, дескать, камнями, бревнами, железными молотками в офицеров и его рядовых метали и многих тяжело изувечили. Однако ж, при переходе через те же владения наших регулярных войск местные жители никаких противностей им не чинили. Ясно, что сами мамоновцы вели себя опять «мамаевцами»; а посему их командиру ныне предписано беспромедлительно высту-

пить в обратный поход в Россию, где, свой полк распустив, самому в свою вотчину удалиться и ни под каким видом не покидать оную впредь до особого Высочайшего разрешения.

Я же, узнав о таком предписании, троекратно перекрестился и благодарил Творца, что сия мамаевская чаша меня миновала.

* * *

Мая 12. Надоел мне Париж, в конец опостылел! И Сагайдачного на родину уже тянет. С того дня, что карт в руки не берет, он душу в театрах отводит, а на другое утро мне про вчерашнее представление рассказывает. Зашел и сегодня; а тут денщик его входит с сапогом в руке.

— Поглядите-ка, ваше благородие, какой камушек в каблук ваш вдавился, и не выколу-пать.

Смотрит Сеня.

— Эге-ге! — говорит. — Дай-ка сюда, Андрюша, перочинный ножик.

Подал я, и выковырял он из каблука тот камушек; а камушек граненый и в лучах солнца всеми цветами радуги играет.

— Да, ведь, это бриллиант! — говорю я.

— Конечно, и чистейшей воды; цена ему сотня рублей, а то и несколько сот.

— Но как он тебе под каблук-то попал?

— Очень просто: вчера в театре у какой-нибудь модницы из ожерелья, браслета или брошки выпал; я наступил да с собой и унес.

— Так тебе надо его сейчас же возвратить владелице.

— Легко сказать! Может быть, его обронили вовсе и не в театре, а на бульваре или в ресторации. Объяви-ка о такой находке во всеобщее сведение, так барынь этих столько к тебе нагрянет, что и отбою не будет.

— Это вам, ваше благородие, судьба за вашу добродетель послала, — говорит денщик, — что в картишки играть перестали.

— Да куда мне этакий бриллиант? Продать жалко: очень уж хорош. Будь у меня, по крайней мере, сестра или невеста.

— А вот у его благородия, Андрея Серапионыча, нет ли? Ишь, в краску бросило! Верно, уж помолвлены.

— И то ведь, Андрюша, признайся-ка: не с

той ли поповской дочкой в Толбуховке?

Скрывать было поздно.

— Хоть бы и так, — говорю, — но родители ей носить бриллиантовую вещь ни за что не позволят. Да и я тоже против всякой роскоши, против драгоценных камней.

— Потому что сама она — драгоценнейший бриллиант в целом мире? Хорошо, хорошо.

Усмехнулся тонкой своей хохлацкой усмешкой и разговор оборвал. Но я далеко не уверен, что он не выкинет еще какого-нибудь коленца.

* * *

Мая 20. До возвращения в Россию государь еще в Англию собирается; с ним и свита. Шмелева же командируют с поручением прямо в Петербург, и он меня с собою берет. Может, по пути еще и в Толбуховку завернем. Итак домой, домой, к матушке и к Ирише! В гостях хорошо, а дома лучше.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ

*Петербургские встречи. — Сватался,
да и спрятался*

* * *

Петербург, Июля 6. С самого Парижа не раскрывал дневника. Поход ведь благоуспешно окончен, Европа умиротворена.

В Толбуховку тоже заглянуть не довелось. Но сегодня две свежие вести сами на бумагу просятся. Первая весть: государя ожидают из Англии уже на днях, и готовится ему здесь подобающая встреча, коей как бы завершится победоносная кампания.

Вторая весть: Варвара Аристарховна, в Толбуховке, по муженьке стосковавшись, сюда же, в Питер, с отцом едет. Мало того: едут с ними и Елеонские, батюшка с Иришей, — благо коляска дорожная четырехместная; никто из них ведь, кроме Аристарха Петровича, невестской столицы еще не видал. Он с дочерью в казенной квартире у стариков Шмелевых остановится (где и для меня уголок уже нашелся,) Елеонские — у первого здешнего

оперного певца Самойлова, с которым в родстве состоят.

Как шибко бьется мое сердце! Пишу эти строки, а перо в пальцах прыгает и на бумаге мыслете выводит. Господи, Господи! Как-то еще мы с нею встретимся? И достанет ли у нас духу теперь же родителю ее открыться?..

* * *

Июля 13. Государь, прибыв из Царского Села, тотчас в Каменноостровский дворец проехал, отказавшись от всякой пышной встречи. Тоже, говорят, и в Англии было: ездила к нему отсюда депутация от государственного совета, сената да синода с адресом, коим просили его принять наименование «Благословенного» и разрешить выбить медаль и воздвигнуть памятник с надписью: «Александрю Благословенному, императору Всероссийскому, великодушному держав восстановителю от признательные России». Он же, по присущему ему христианскому смирению, таковое предложение отклонил. Завтра, однако ж, волей-неволей придется ему присутствовать при благодарственном молебствии в Казанском соборе.

Со дня на день ожидаем мы наших толбуховцев, а их все нет, как нет! Уж не приключилось ли с ними чего дорогой?

* * *

Июля 14. Прибыли! Дмитрию Кирилловичу вчера, как и мне, от беспокойства дома не сиделось. И отправились мы с ним под вечер на Стрелку солнечным закатом полюбоваться; домой вернулись только в 10-м часу. Входим в столовую, а там за самоваром, вместе со стариками Шмелевыми, сидят еще двое: Аристарх Петрович и Варвара Аристарховна. У молодых супругов после долгой разлуки такая уж радость была, что и не описать. Меня первым заметил старик Толбухин и объятия раскрыл.

— А, г-н подпоручик и георгиевский кавалер! Где шататься изволили? Поздравляю, дружок! Человеком стал.

Тут ручку мне и дочка протянула, а сама улыбается.

— Чего ты, — говорит, — озираешься? Кого тебе еще надо? Успокойся: приехали тоже. Завтра увидите.

Хоть и отлегло у меня на душе, а ночью по-

том все же несколько раз просыпался: правда ли?

В Казанском соборе мы были еще до начала службы и то с немалым трудом на площади сквозь толпу несметную протолкались. В соборе тоже было уже полным-полно от генералитета, придворных дам и кавалеров. Но вот, с площади неумолкаемое «ура!» доносится, церковный хор торжественно заливается и, как бы внесенный в храм на тех звуковых волнах, появляется обожаемый наш монарх среди блестящей своей свиты. Но и ростом он и царственною величавостью возвышается над всеми окружающими, все взоры устремлены на него одного. Он же, в самого себя углубленный, никого как будто кругом не замечает; преклоняет колена, крестится, подходит и прикладывается ко кресту... И каждому, верно, как и мне, думается: что-то он должен чувствовать, благополучно в свое царство вернувшись по совершении принятого на себя, столь ответственного, мирового подвига?..

По окончании службы, мы, во избежание толкотни, вышли из собора одними из последних. А под колоннадой нас уже поджида-

ют Елеонские, отец с дочкой.

Не знаю уж, кто из нас двоих больше смутился и обрадовался — Ириша или я. Словно косноязычные, мы оба в начале слов не находили, урывками что-то лепетали; зато глазами тем красноречивее объяснялись, украдкой взглядывая друг на друга. Ее батюшка, по счастью, разговором с другими о благолепии храма и всего богослужения был занят и на нас никакого внимания не обращал.

На углу остановились, прощаться стали.

— Как-нибудь вместе и достопримечательности столицы осмотрим, — говорит Аристарх Петрович о. Матвею. — Сегодня старые кости с дороги еще ломит, отдыха просят.

— А наши молодые кости уже отдохнули, — говорит Варвара Аристарховна. — Правда, Ириша?

— Ах, да!

— Прежде всего, — говорит Шмелев, — вам обоим надо на Неву посмотреть: такой красавицы-реки на всем Западе не найти; да и такого чудного памятника, как Петра Великого на Сенатской площади. Отсюда рукой подать. Не пойти ли сейчас, а?

— Вы, молодежь, ступайте, — говорит Аристарх Петрович, — а мы, старики, уж как-нибудь в другой раз.

И пошли мы четверо: впереди Шмелевы, а мы с Иришей следом. Ни им, молодым супругам, до нас, ни нам до них никакого дела. Идем вдоль по Невскому к Адмиралтейству, оттуда на Сенатскую площадь и к Неве. Чем и как любовались Шмелевы сказать не умею; я одной Пришей любовался. Как есть распустившийся розан.

— Как вы, Ирина Матвеевна, — говорю, — за эти полтора года похорошели!

Она еще ярче зарделась.

— А вы, — говорит, — ужасно подурнели!

Сама же меня в моей парадной офицерской форме такими искристыми глазками оглядывает, что с уст моих невольно срывается:

— Милая ты моя, ненаглядная! А она:

— Ч-ш-ш! Что ты! Что ты!

— Да чего уж скрывать-то? Мы можем хоть сейчас повенчаться: средства достаточные...

— Какие средства? Офицерское жалованье, верно, очень маленькое.

— Зато у тебя порядочный капиталец.

— У меня? Откуда? За мной из дому ничего не дадут.

— И не надо, потому что те заветные золотые, что ты дала мне на дорогу, «на черный день», принесли за полтора года недурные проценты: ни много, ни мало, 24 тысячи.

— Копеек?

— Нет, рублей и золотой же монетой.

— Быть того не может! Или ты в карты выиграл? Такие проклятые деньги не принесут счастья; я их не возьму, ни за что не возьму!

И она выдернула руку из-под моей, и светлые черты ее омрачились, точно солнышко за тучку спряталось.

— Какой ты, однако, кипяток! — говорю я на то. — Выслушай меня, а потом и суди.

И рассказал ей тут про находку мою в Бриенском замке, про то, как выручил ею из беды сперва Сагайдачного, а затем и самого графа Ломени де Бриенна, и как тот в благодарность треть своего неожиданного наследства ей, нареченной моей, на приданое назначил.

По мере того как ей становилось все яснее, что моей вины никакой нет, и что подарок

французского графа можно принять без всяких угрызений совести, личико ее также все более прояснялось, а к концу рассказа из лазурных очей ее на меня опять яркий луч солнечный брызнул.

— Славный ты мой, хороший! То-то я молилась Царице Небесной и денно и ночью...

— Так, значит, мне можно сегодня же переговорить с о. Матвеем?

— Сегодня же? Ах, нет, милый; дай мне сначала его немножко подготовить. Он ведь тоже против военных.

— Ну, так завтра.

— Не знаю уж, право...

— Нет, непременно завтра!

Варвара Аристарховна шла перед нами под руку с мужем. Последние слова наши услышав, она к нам обернулась:

— Что завтра? Вы оба никакого голоса не имеете: завтра мы отправляемся все в Эрмитаж.

Так душевная беседа моя с Иришей с глазу на глаз и оборвалась.

Только на прощанье она успела мне еще шепнуть:

— Приходи завтра пораньше и сперва меня вызови!

* * *

Июля 15. Все пропало! В Эрмитаж идти было решено в 11 часов. Поэтому к Самойловым я толкнулся уже спозаранку и попросил горничную вызвать мне Ирину Матвеевну.

— Да вы, — говорит, — не г-н ли Пруденский?

— Да.

— Так примет вас сам о. Матвей. Пожалуйста в гостиную.

Вот тебе и раз! Значит, говорила уж с ним, да не уговорила. И точно: выходит он ко мне не то чтобы сердитый, грозный, а печальный, огорченный.

— Здорово, торопыга. Прискорбно и тягостно мне говорить с тобою. Неладное ты с Иришей моей затеял, неподобное!

— Почему же, — говорю, — батюшка, неподобное? И в писании ведь сказано: «Недобро быти человеку единому»...

— Сказано-то сказано, да разве вы-то оба настоящие уже человеки? Малолетки великовозрастные, в куклы бы вам еще играть, а не

ребят качать. Второе же и главное: Господу неуютно было дать мне родного сына, что мог бы меня в свое время заместить. А посему дочь свою не иначе в супружество отдам, как за такого же, как сам, служителя алтаря.

От сих жестоких слов кровь в голову мне бросилась, и я непочтительно крикнул:

— Так вы дочери вашей не любите по-христиански, не желаете ее счастья?

Он же, голоса по-прежнему не возвышая, на то сухо:

— Не забывай, с кем говоришь. Оттого-то именно, что так люблю ее, единое мое детище, я, памятуячи Страшный Суд, и не отдам ее за человека, коего руки обагрены кровью, а кровь взывает к небу о мщении.

— Да разве я кого злонамеренно убивал? Помилуйте! Себя я, правда, не раз под вражеские пули и сабли подставлял, доблестно тем исполняя долг свой; сам тоже раны врагам наносил — раны не смертельные; но буде мне суждено бы было кого и до смерти убить в честном бою за царя и отечество, то совесть моя от той крови осталась бы незапятнанной...

— Да Georgia-то на тебя за что навесили?

— За храбрость.

— А что такое ваша воинская храбрость?..

Ну, да мы — люди разных толков, говорим на разных языках. А об Ирише моей забудь и думать! Спрос не грех, отказ не беда. Доколе мы с нею здесь, в Питере, еще пребываем, тебе с нею уже лучше и не встречаться.

Меня вконец пришибло.

— Воля ваша, — говорю. — Но как же, батюшка, быть теперь с ее приданым от французского графа? Ведь она, чай, о нем тоже вам сказывала?

Рукой отмахнулся.

— Господь с ними, с этими французскими деньгами! Нам их не нужно; и так обойдемся.

— Да ведь даны-то они были, батюшка, не мне самому, а моей нареченной...

— Женишься раз на другой, — вот ей и приданое готово.

— На другой я никогда уже не женюсь!

— Ну, так на благое дело, какое ни на есть, их пожертвуй, а то просто твоему графу в Париж обратно отошли. Нас с Иришей только от них избавь. Нечего нам с тобой еще праздные

слова тратить. Будь здоров и попусту не горюй.

Благословил еще меня и до дверей проводил.

«Попусту не горюй!» Да что у меня сердце-то деревянное, что ли, или каменное?

Пишу эти слова, а сам от слез букв не различаю: из глаз на бумагу капают. Совсем разнюнился. Вот тебе и георгиевский кавалер!

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

Павловский праздник. — «Горь-ко! Горь-ко!»

* * *

Июля 18. Три дня уже, что не токмо не видел, но ни словечка о ней и от других не слышал; точно все нарочно воды в рот набрали. Просто отчаянность находила! Сегодня, однако ж, за столом Варвара Аристарховна при мне, точно для того чтобы я слышал, говорит мужу:

— А Ириша-то с воспитанницей Самойловых, Серафимой или Фимочкой, как ее называют, до чего подружилась! Та театральное

училище уже кончила, и голос у нее тоже замечательный. Императрица Мария Феодоровна ее уже слышала и выразила желание, чтобы она в празднике тоже участвовала, который в Павловске устраивается по случаю возвращения государя из похода.

— Но ведь государь, кажется, уклоняется от всяких таких чествований? — говорит на то Дмитрий Кириллович.

— Вообще-то да; но тут отказаться ему уже невозможно, чтобы не оскорбить материнского сердца государыни.

— А у самой Ириши тоже ведь голосок премилый, — Аристарх Петрович заметил. — Это ее с Фимочкой так и сблизило. Вместе теперь распевают куплеты, приготовленные для праздника.

Сижу я тут же за столом, все эти речи слышу, а сам про себя думаю: «Ах, ах! Я-то вот грущу-грущу, убиваюсь, а она, вишь, как пташка лесная, куплеты беззаботно распевает»...

* * *

Июля 23. Вчера, в день тезоименитства императрицы Марии Феодоровны, в Петергофе было большое народное гулянье. Шмелевы,

собираясь туда, меня с собой зазывали; но я отговорился нездоровьем: не то на уме и на сердце. А нынче наведался ко мне Сагайдачный.

— Ну, братец, — говорит, — прогадал же ты! Помнишь еще фонтаны в Версале?

— Как, — говорю, — не помнить. Красота неописанная, сказочная...

— А против петергофских гроша медного не стоят. Представь себе: перед дворцом бьет громаднейший фонтан Самсон...

Тут я, нестерпимо любопытный узнать что-нибудь про Иришу, перебил его:

— Потом, брат, потом! Сперва скажи-ка мне, кого ты там встретил?

— Кого встретил? — повторил он и по-своему, лукаво этак, усмехнулся. — Встретил я там Шмелевых...

— И только?

— А тебе кого же еще? Ну, не стану тебя мучить. Была с ними и твоя зазнобушка. Как она тебя любит!

— Так у вас был разговор обо мне?

— О тебе одном, почитай, только и говорили.

— А отец ее и видеться ей со мной не позволяет!

— Мало ли что! Не кручинься; мы все это еще уладим.

— Так вот и уладишь!

— Постой! Слышал ты ведь, что 26 числа большой придворный праздник в Павловске?

— Ну?

— Главным распорядителем праздника сенатор и поэт Нелединский-Мелецкий; а я к нему в помощь прикомандирован. Расскажу я ему про твою горе; он доложит императрице...

— Ну да! Нет, Сеня, я тебе душевно благодарен; но выйдут неприятности только и для тебя, и для меня, и для о. Матвея.

— А вот увидим... Молчи, молчи! И слышать не хочу.

Схватил кивер и — вон из дверей. Как бы он, в самом деле, не сдурил!

* * *

Июля 26. С самого утра нынче дождь лил, и павловский праздник отложен на завтра. Но узнали о том Шмелевы уже на месте, после генеральной репетиции. Из-за дождя происходила она не под открытым небом, а в боль-

шом танцевальном зале, только на сих днях пристроенном к так называемому Розовому Павильону. От страшного сквозняка в этом зале воспитанница Самойловых Фимочка до того простудила горло, что совсем охрипла. Нелединский был в отчаянии, так как сама государыня указала ей роль в праздничной пьесе; но Самойлов его успокоил, что имеет ей, дескать, заместительницу; и кого же он наметил? Иришу! Всю роль она, правда, проходила вместе с Фимочкой; но весьма сомнительно, чтобы у Ириши хватило духу выступить перед Императорской фамилией и всем Двором. Да и родитель ее вряд ли даст свое благословение.

* * *

Июля 28. Все еще между небом и землей, но ближе уж, кажется, к небу.

Патриотизм возымел свое действие на Еленских: ни дочка, ни отец против оного не устояли. На сей раз я, понятно, уже не уклонился от предложения Шмелевых ехать с нами в Павловск. И не раскаялся!

Погода с утра была опять пасмурная; но к 6-ти часам вечера, когда наша коляска с сот-

нями других экипажей въехала в павловский парк, небеса очистились, и солнце озлатило все торжество. У самого дворца возвышалась триумфальная арка. На полпути оттуда к Розовому Павильону сойдя из коляски, мы, от многолюдства, прошли дальше окружным путем. Близ павильона воздвигнута была еще другая арка из высоких лавровых деревьев, в вышине перевитых гирляндами с надписью:

*Тебя, грядущего к нам с бою,
Врата победы не вместят.*

Стихи эти взяты, как говорят, из оды ново-явленной стихотворицы Буниной.

Такими же гирляндами украшена была вся большая аллея от дворца, которою в 7 часов, при неумолчных ликованиях несметных зрителей, проследовал к Розовому Павильону государь с августейшею матерью-царицей, братьями великими князьями и всею свитой.

При прохождении их под лавровой аркой хор придворных певчих грянул победную кантату.

Название Розовому Павильону дано от окружающих его кустов цветущих роз. Четы-

ре небольшие лужайки по сторонам павильона были приспособлены для театрального представления; декорациями же служили искусно расписанные в натуральную величину: справа — высоты Монмартра, а слева — господский дом и крестьянские избы. На этих-то лужайках придворными актерами была разыграна сельская идиллия сочинения того самого поэта-капитана Батюшкова, коим написана ода на переход наших войск через Рейн.

Состояла идиллия из четырех картин: в первой выступали одни дети, во второй — парни и девушки, в третьей — молодницы и в четвертой — старики и старухи. Все по очереди славил государя и победоносное его войско, восстановившее всеобщий мир.

Среди деревенских девушек во второй картине я сначала так и не узнал Ириши: стоял я в толпе довольно далеко. Но когда раздался ее серебристый голос, сердце в груди у меня ёкнуло.

— Кто это? — спрашивали друг у друга мои соседи. — Какое чистое сопрано!

— Да это моя нареченная, моя Ириша! —



„Ты возвратился, Благодатный!“

на весь парк хотелось мне крикнуть.

Третья и четвертая картины, где ее уже не было, меня, само собой, не так уж тронули; но когда заключительный гимн сочинения Державина своим бархатистым тенором затянул сам Самойлов:

*Ты возвратился, благодатный,
Наш кроткий ангел, луч сердец.*

тут и у меня глаза от слез затуманились; а когда он закончил троекратным «ура! ура! ура!», и остальные певцы и вся публика кругом «ура» это подхватили, то и мой голос в сем общем восторженном крике выделился подобно тромбону, покрывающему все прочие инструменты в оркестре.

Сагайдачному было не до меня, ибо главный распорядитель праздника, Нелединский-Мелецкий, толстенький, суетливый старичок в золоченой треуголке и красном сенаторском мундире, в голубой ленте и звездах, посылал его, в качестве своего «адъютанта» то туда, то сюда.

Уже в сумерках, когда в танцевальном зале начались танцы торжественным полоне-

зом, Сеня отыскал меня среди зрителей под окошками зала.

— Вот ты где! А я, брат, за тебя уже похлопотал и, думаю, не без пользы.

— Ты говорил обо мне с Нелединским?

— Не столько о тебе, сколько об Ирине Матвеевне. Собственные его вирши, правда, весьма посредственны, но все прекрасное ценить он умеет. Так оценил он и голос Ирины Матвеевны, и еще более ее свежую молодость. Заступив в спектакле место воспитанницы Самойлова, она оказала ему большую услугу, а потому, когда я ему давеча объяснил, что и он может ей отплатить услугой, он тотчас после спектакля пошел с докладом в кабинет к императрице Марии Феодоровне, а немного погодя туда позвали и Ирину Матвеевну.

— Ну, а дальше, дальше что же?

— Что было дальше — постараюсь узнать в течение вечера. Сейчас я должен дирижировать танцами. Во всяком случае не сегодня, так завтра тебе все разужнаю.

После танцев должен был быть еще большой фейерверк и ужин в нескольких палат-

ках. Но у Варвары Аристарховны от двух поездов: вчерашней и сегодняшней, так голова разболелась, что мы еще до конца уехали обратно в Питер.

И вот я с часа на час ожидаю теперь к себе Сеню.

...Слава Создателю во Святой Троице! Думал уж, что и не дождусь. И солнце за крышами скрылось, когда он, наконец, ко мне ворвался.

— Ну, дружище, облачайся в парадную свою форму со всеми регалиями — и марш на парад!

— На какой парад?

— К тестю; сам за тобой послал.

— Кто? о. Матвей?

— Ну да. Экой ты, брат, нынче непонятливый! Живо! Живо!

Стал я облачатся на скорую руку, а он тем временем рассказал мне вот что:

— Ночевал я у Нелединского в Павловске. После вчерашней передряги не успел еще и выспаться, как он за мной уже посылает.

— Сию минуту, — говорит, — отправляйтесь в Петербург и привезите сюда священни-

ка Елеонского: ее величество Мария Феодоровна к себе его требует.

Полетел я сюда на курьерских, прямо к о. Матвею и полчаса спустя летел уже с ним обратно в Павловск.

— А он что же?

— Он, точно с неба свалился, ничего-таки не понимает, меня выпытывает: что да как? А я:

— Знать не знаю, ведать не ведаю. Примчались. Повели его к императрице; а когда, недолго погодя, от нее он опять вышел, совсем старик размяк, растаял, как снег в лучах солнца, платком глаза утирает.

— Ну, что, — говорю, — батюшка?

— Ох, молодой человек! Молодой человек! — говорит и пальцем мне грозит. — Следовало бы мне сердчать на вас, что так подвели. Но без вас я не сподобился бы всемилостивейшую родительницу царскую улицезреть, ангельский голос ее услышать.

— Так вы, батюшка, — говорю, — больше уже не упорствуете?

— Против высочайшей ее воли, столь душевно изъявленной, дерзну ли я еще долее

упорствовать?

— И отдаете дочку за моего приятеля?

— Придется, — говорит, — отдать; судьба, видно! Не даром говорится, что всякая невеста для своего жениха родится.

На сих словах Сени я не выдержал, обхватил его вокруг шеи и поцелуй ему влил.

— А потом, — говорю, — что же было?

— Потом? Только домой его доставил, прощаюсь, а он мне:

— Ты, что же, дружкой у него будешь?

— Само собою.

— Так вези его сюда. За одно уж порешим.

— И вот я за тобой. Извозчик ждет внизу у подъезда. Скоро ли ты управишься?

— Готов, — говорю и хватаю еще с собой заветный мешочек, золотом набитый (Бриенские двойные луидоры еще в Париже ведь на наши русские империалы выменял).

Сели на извозчика.

— Пошел! Хорошо поедешь — целковый на чай.

Вихрем домчал. А о. Матвей, заложив руки за спину, по гостиной взад и вперед похаживает. Увидев меня, к противоположной двери

обернулся.

— Ириша! Где же ты?

Ан она, голубка моя, там уже стоит, лучистыми звездочками своими искры на меня мечет.

— Ну, что же ты? — говорит ей родитель. — Подойди ближе. Да и ты тоже.

Подошли мы оба.

— Эх, эх! А колец-то обручальных еще и не припасли.

— У меня-то есть, — говорю и колечко Иришино с бирюзой предъявляю.

— И у меня тоже, — говорит Ириша и берет за мизинец свой с колечком из моих волос.

Но тут к ней Сеня подскочил.

— Нет, уж извините, — говорит. — Вот ваше обручальное кольцо: еще в Париже для вас припасено.

И преподносит ей, в бархатном футлярчике, золотой перстенок с большущим, знакомым уже мне, бриллиантом.

— Да, ведь, это никак драгоценный алмаз? — говорит о. Матвей.

— Мне он случайно достался, и я его для

невесты моего друга закадычного оправить только дал.

— Коли так, то ладно. Ну, детушки, преклоните колена.

И склонились мы перед ним, и благословил он нас, на персты кольца нам надел, обнял дочку, потом и меня.

— А теперь, — говорю, — батюшка, вы разрешите уж Ирише принять приданое французского графа?

И подаю ей мешочек.

— Бери уж, бери, — говорит ей отец. — Теперь не принять неразумно бы было. Но со свадьбой, милые вы мои, как хотите, повременить вам еще годик-другой придется.

— До следующего, — говорю, — чина?

— А ты в каком чине-то?

— Подпоручик.

— Так вот, как станешь поручиком...

Меж тем Сеня мой хозяев Самойловых успел уже позвать. И входят они, а за ними лакей — в руках поднос с бокалами шампанского. Все наперерыв с Пришей, со мною, со Матвеем чокаются. А неутомонный наш дружка:

— Горь-ко! Горь-ко!

Писать ли еще дальше? Бude на дне души моей от перенесенных коловратностей жизни и оставался еще, быть может, горький осадок, то горечь его в неизъяснимой сладости — не шампанского, а блаженного этого часа бесследно растворилась. Дай же Бог и будущим детям моим, и внукам, и правнукам, да и всякому ближнему дожить однажды тоже до такого часа... И точка.

1914

Примечания

В будущем (лат.).

[^^^]

2

Как отрадно мне видеть в этих краях гордых сынов России! Среди нас эти дети Севера не находятся ли как бы на родине? В бою гордые и грозные, храбрые и великодушные, не являются ли они лучшими друзьями Франции?

[^^^]

3

В вольном переводе Курочкина:

*Бедность и труд
Честно живут,
С дружбой, с любовью в ладу.
Слава святому труду!*

[^^^]